

Бессильная злоба антидарвиниста

(По поводу статьи г. Страхова: «Всегдашняя ошибка дарвинистов»¹).

But when men set themselves to cultivate skill in disputation, irrespective of the matter debated, — when men regard the matter discussed, not as a serious issue, but as a thesis upon which to practise their powers of controversy, — they learn to pursue, not truth, but victory; and their criterion of excellence having been thus perverted, they presently prefer ingenious fallacy to solid reasoning, and the applause of bystanders to the consciousness of honest effort.

(См. слово Sophists в *Encyclopaedia Britanica*, vol. XXII, p. 265).

Воистину, «логика мстит за себя жестоко»²).

В 1885 году, как известно, появилась, книга В. Данилевского «Дарвинизм», в которой автор её вознамерился опровергнуть это учение, в целом и в частностях. Учёных эта книга, конечно, не могла интересовать, так как беглого знакомства с ней было достаточно для её оценки. Это был сбор давно известных и в своё время устранённых возражений, выраженных в преувеличенной, гиперболической форме, снабжённых ненужными, длинными отступлениями, рассчитанными на то, чтобы произвести на неопытного человека впечатление научной вескости, в довершение, изложенных хлёстким, самонадеянным тоном, заменяющим для иного читателя логическую аргументацию. Для учёных, повторяю, труд Данилевского так и остался *compte non avenue*. Но не учёных, способных критически отнестись к делу, имела в виду эта книга. Дарвинизм, — худо ли это, или хорошо, — бесплодно разбирать, так как мы стоим перед фактом, с которым, приходится считаться, — дарвинизм давно стал достоянием не одних специалистов-учёных, а и вообще образованных, мыслящих людей. Озадачить читателей этой категории хитросплетёнными софизмами, потопленными в массе научных частностей, в расчёте на его очевидную беспомощность разобраться в этом хаосе, — вот в чём был очевидный умысел при издании этой неумеренно-толстой книги. К числу таких почти беспомощных читателей могла быть отнесена и значительная доля учащихся.

¹ Русский Вестник 1887 г., ноябрь и декабрь.

² Эпиграф заимствован из статьи г. Страхова.

Составить себе мнение по одному из важнейших вопросов современной науки для них, конечно, весьма существенно. Но прочесть тысячу страниц — труд не маловажный; прочесть же их основательно, с карандашом в руках, делая критические заметки, сопоставляя противоречия, проверяя ссылки, — труд решительно непосильный, при многочисленности других, более полезных занятий. Что же оставалось им делать: ограничиться заключительными главами с их: доказал, опроверг, окончательно доказал, окончательно опроверг, т.е. поверить на слово автору или так же слепо поверить отрицательному отзыву другого «верного человека»?

Нужен известный навык к подобного рода трудам, для того, чтобы суметь вылущить ядро такого сочинения из облекающей его толстой шелухи, для того, чтобы отпрепарировать голый скелет всей аргументации и показать, на каких жалких двух-трёх софизмах выведена главная логическая постройка. Этот нелёгкий, неблагодарный, но, я твёрдо убеждён, полезный труд я старался выполнить по мере того досуга, который мог уделить на это дело от более серьёзных своих занятий. В моей статье: «*Опровергнут ли дарвинизм?*» желающий найдёт нить, при помощи которой не запутается в лабиринте книги Данилевского, получит возможность проверить справедливость моего приговора о ней, не руководясь иным авторитетом, кроме собственного здравого смысла.

Не этого, конечно, ожидали горячие поклонники Данилевского. Сначала, оскорблённые молчанием при выходе книги (по правде сказать, единственным приёмом, которого она заслуживала), они начали задирать, инсинуировать, что дарвинисты её «замалчивают». Понятно было их изумление и негодование, когда оказалось, что не бессильем перед врагом, а только пренебрежением к нему объяснялось это молчание научной критики. А, главное, никак не ожидали они возражения с той стороны, с которой оно пришло; думали, станут указывать на какие-нибудь мелкие промахи, а вдруг оказалось отсутствие здоровой логики в основной аргументации пресловутой книги. Оставить так дело было, конечно, невозможно; с ответом выступил г. Страхов, связавший своё имя с судьбой этой книги теми до комизма преувеличенными похвалами, которые он ей расточал.

Как всякий человек, не уверовавший в свою непогрешимость принялся я за статью г. Страхова, ожидая найти в ней какие-нибудь доводы, которые придётся взвесить, обсудить, может быть, даже убедиться в сделанных мелких промахах, поспешных суждениях, недосмотрах. Особенно боялся я последнего: когда на 50 страницах отвечаешь на такую толстую книгу, всегда

боишься, что, быть может, упустил какой-нибудь довод, и это упущение может быть сочтено за умышленное уклонение от его обсуждения. Но, по прочтении обеих статей г. Страхова, я испытал самое отрадное чувство, сознание, что не имею повода раскаиваться ни в одном слове моей критики. В переполненной ничем не оправдываемыми грубыми личными нападкаmi бесконечно длинной статье г. Страхова я не нашёл ни одного заслуживающего внимания, прямого, определённого, не голословного возражения; вся она представляет только попытку извернуться, запутав, затемнив в глазах читателя само по себе ясное дело.

Слабость аргументации г. Страхова показалась мне до того очевидною, что самую достойною местию ему я считал простой совет всем желавшим знать моё о ней мнение, — совет внимательно прочесть его статью. Отвечать я считал излишним. К этому побуждало меня отвращение к полемике вообще, а особенно к той, не имеющей ничего общего с научною полемикой разновидности её, примером которой служит статья г. Страхова. В полемике научной требуется доказать или опровергнуть известное положение, а для этого необходимо постоянно иметь в виду предмет спора; требуется убедить самого строгого судью, а не сбить только с толку беспомощного читателя. В той же полемике, о которой я говорю, нужно только сохранить вид, что отдела! противника. А для этого можно прибегать к таким уловкам: вместо одного вопроса, искусно подsunуть другой; чтоб отвлечь в нужный момент внимание читателя, наговорить кучу к делу не относящихся вещей; приписать противнику то, чего он не говорил; и т.д., — одним словом, пускать в ход все приёмы искусного фокусника, от которого зрители только и требуют ловкого мороченья и, в случае успеха, охотно награждают аплодисментами. Если присоединить к этому беззастенчивую резкость тона, то получится полная характеристика этого рода полемики. Почему оно так, трудно сказать, но это факт, ещё за полвека тому назад подмеченный Гоголем. «Положим, — писал он, — для журналиста необходима резкость тона и некоторая даже дерзость (чего, однако, мы не одобряем, хотя нам известно, что с подобными качествами журналист всегда выигрывает в мнении толпы)». Что эти нравы не изменились за полвека, свидетельствует и сам г. Страхов в предисловии к своей *«Борьбе с Западом»*, объясняющий резкость своего тона «дурною журнальною привычкою».

Стоит ли, думалось мне, обращать внимание на возражение такое жалкое по своему внутреннему содержанию, стоит ли раздражаться этими проявлениями «дурной журнальной привычки», а, может быть, и самому втягиваться в неё, а, главное, стоит ли терять золотое время, которого не

хватает и на серьёзное дело? Эти соображения, особенно последнее, взяли верх и я решил оставить статью без ответа. Но некоторые симптомы, на которые обратили моё внимание, заставляют думать, что моё молчание *вторично* принимается за признание себя побеждённым. Поклонники г. Страхова видят в этом его произведении перл его научно-литературной деятельности, полагая, что в этой статье он навеки похоронил дарвинизм. Это бы ещё ничего, но нашёлся учёный, беспристрастно ставящий и мою критику, и возражение г. Страхова на один уровень, даже, по-видимому, склоняющийся на сторону того, за кем осталось последнее слово³. Далее молчать невозможно. Делать нечего; *вторично, против желания*, приходится браться за перо, для того, чтобы охладить преждевременный восторг наших антидарвинистов, показать всю безнадёжность их лилипутских походов против одного из гигантов научной мысли девятнадцатого века, а кстати пояснить и беспристрастному учёному, в чём заключается разница между строгою логикой и софистическою эристикой.

Для облегчения своей задачи, а ещё более для того, чтобы читатели видели, что я не оставляю ничего существенного в статье г. Страхова без ответа, буду придерживаться того же деления, тех же курьёзных заголовков, которые придуманы самим г. Страховым.

I. Начало полемики.

Г. Страхов начинает с того, что с неподражаемою игривостью, конфиденциально сообщает своим читателям секрет, сокровенный смысл его первой статьи по поводу книги Данилевского⁴. Статья эта, — поясняет он, — была только рекламой, имевшей в виду во что бы то ни стало заставить говорить об этой книге — худо ли, хорошо ли, всё равно, лишь бы только нарушилось то невыносимое для поклонников Данилевского молчание, которое сопровождало её появление. Вот уж подлинно: *un secret de Polichinelle!* Для кого же не было ясно истинное значение этой статьи? Одно название её «*Полное опровержение*» прямо отзывалось трескучею рекламой. Но не в том и дело; эта исповедь нужна г. Страхову только для того, чтобы похвастать, как ловко он будто бы выманил меня на бой, а по этому поводу, кстати, с первых же строк отрекомендовать меня своим читателям, как самодовольного пошляка; это нужно было для того, чтобы изобразить себя

³ См. мою статью: *Странный образчик научной критики* (Русская Мысль, кн. III).

⁴ *Русский Вестник* 1887 г., январь: *Полное опровержение дарвинизма*.

хитроумною лисою, а меня — падкой будто бы на лесть вороной. Для этой благой цели он также с первых же строк прибегает к приёму, которым потом широко будет пользоваться в своей статье, — приёму очень элементарному, заключающемуся в том, чтобы вставлять мне в рот диаметрально противоположное тому, что я говорю. Он пишет: — «Тимирязев думает, что я (т.е. г. Страхов) возгордился таким отличным учёным, как он», между тем как, в действительности, я пишу, что очень хорошо понимаю иронический тон его похвал, что в его глазах я только «самый последовательный сторонник несомненного заблуждения». Не довольствуясь этим, через несколько страниц г. Страхов уже прямо выставляет меня фатом, который сам себе говорит комплименты. Он пишет: «г. Тимирязев сам себя называет серьёзным учёным», и ещё имеет смелость ссылаться на страницу, очень хорошо зная, что там этого не говорится. Я говорю, что «каждый серьёзный учёный», заглянув в книгу Данилевского, «перешёл к своим очередным занятиям», а я-то именно этого не сделал и подробно объясняю, почему. Г. Страхов мог сделать из этих слов вывод, что я сам считаю себя «несерьёзным» учёным, но это не входило в его расчёты: ему нужно было выставить меня в глазах своих читателей хвастливым фатом и сразу возбудить против меня предубеждение. Останавливаю внимание читателя, на первых же порах, на этом характеристичном литературном приёме г. Страхова, с которым, повторяю, придётся не раз встретиться во всей статье.

Поговорив немного о «фанатизме учёных», мешающем им, конечно, проникнуться мировым значением таких книг, как книга Данилевского (к чему мы вернёмся), рассказав никому не интересные подробности о том, как я читал лекцию, и что он, г. Страхов, в это время перечувствовал, он патетически восклицает: «Публичная лекция — страшное орудие, и оно-то неожиданно было направлено на дело, за которое я стоял». Здесь невольно спрашиваешь себя: на что же собственно ропщет г. Страхов? Если я мог, в Москве, в публичной лекции, защищать дарвинизм, то что же могло помешать г. Страхову, вооружившись своим «полным опровержением» или «всегдашнею ошибкой», пройти с этим «страшным оружием» по всем городам и весям земли Русской? Очевидно, что и в этом ненужном отступлении о моей лекции кроется какой-то скрытый смысл. Г. Страхов обращает внимание на примечание к моей статье, в которой сказано, что эта «публичная лекция *значительно* переработанная и дополненная» и что потому он может «привлечь к ответственности» только печатную речь. Для усиления смысла г. Страхов слово *значительно* даже пишет курсивом. Смысл всего этого, очевидно, заключается в инсинуации, что я, пожалуй, позволил себе на

лекции многое такое, за что г. Страхов не может призвать меня к ответственности. Спешу успокоить г. Страхова: я не имею обыкновения отказываться от своих слов, всё равно — произнесённых или напечатанных. Что же касается примечания, то оно сделано даже и не мною, а редакцией, без моего ведома; всё, что я читал, *дословно* появилось и в печати, дополненную же статью явилась потому, что из лекции были выкинуты места, которые для лекции были бы слишком скучны. Успокоив напрасно встревожившуюся подозрительность г. Страхова, перейдём к сущности дела, посмотрим, как будет он «привлекать меня к ответственности». Впрочем, г. Страхов не так-то легко приступает к делу: за первым вступлением у него следует ещё второе. Оно озаглавлено:

II. Мои затруднения.

Для того, чтоб окончательно отрекомендовать меня своим читателям г. Страхов уверяет их (очевидно, с никогда не покидающею его уверенностью, что его читатели меня не читали и не станут читать), что на 50-ти страницах моей статьи «нет ни одного возражения», что я «только не дочитал, не понял, искажил», что «смутность содержания такова, что читатель не выносит из статьи никакой ясной мысли», что «такая манера хороша только для фельетониста», что «опровергнуть статью вовсе нет надобности», что «на любой странице (у Данилевского) более логики и строгой мысли, чем во всей статье г. Тимирязева, как бы мы эту статью ни выжимали». После этого набора огульно голословных, бездоказательных резкостей г. Страхов с неподражаемою наивностью уверяет, что он решился не быть резким, хотя ему на это будто бы даёт полное право резкий тон моей статьи, в доказательство чего приводит целый ряд выражений, выхваченных без связи с содержанием.

Г. Страхов упустил из вида только одно коренное различие между своею голословною бранью и тем, что он называет моими резкостями. Каждая моя «резкость» только строго определённая квалификация известного приёма, известной неприличной выходки самого Данилевского. Когда он говорит, что превратил дарвинизм «в кучу мусора», я называю эту выходку «самодовольно-самоуверенною», и всякий человек, не ослеплённый личною приязнью, не может не согласиться с этим. Когда он уверяет, что «прижал к стене сомоуверенного (!) Дарвина», а на деле приводит не имеющую смысла выписку из затхлого словаря прошлого столетия, я говорю, что

«самоуверенность и хвастливость возмещают у него недостаток логики». Когда он серьёзно уверяет, что понятность и быстрое распространение теории доказывают, что она плоха, то я говорю, что он «позволяет себе шутить над здравой логикой», и т.д., и т.д. Каждое моё обвинение не только подкреплено фактом, но всегда является после вызвавшего его факта. Что же общего между этими суждениями и огульной, по самой своей природе не допускающей доказательства, бранью вроде изречения, что «на любой странице (у Данилевского) более логики и стройной мысли, чем во-всей статье г. Тимирязева, как бы мы эту статью не выжимали»? Я полагаю, что подобные обороты речи, наравне с их прототипом: «он ему в подмётки не годится», давно следует предоставить в безраздельное пользование базарных торгов.

Устояв, по его мнению, от соблазна наговорить мне резкостей (любопытно бы знать, что же г. Страхов называет резкостью?), он делает попытку встать по отношению ко мне на какую-то высшую точку зрения, в роде той, которая выражается известной фразой — *tout comprendre c'est tout pardonner*. Он снисходит до того, что старается отождествиться с моею личностью и великодушно разъяснить себе, почему я роковым образом должен был впасть в заблуждение — увлечься таким жалким учёным, как Дарвин, и не понять, что Данилевский (на которого, по изящному выражению г. Страхова, я «неожиданно для себя наскочил») «сияет умом». В самом деле, что я такое? Только учёный, да, к тому же, ещё профессор. Этим, по мнению г. Страхова, всё сказано. «Нравы учёных людей, — говорит он ещё ранее этого места, — мне давно знакомы и из книг и из практики. Только религиозные фанатики превосходят их в закоснелом предубеждении и отвращении ко всему, что противоречит их мнениям. Учёные принадлежат к числу людей, наиболее слепо преданных своим авторитетам и менее всего способных отказаться от своих предвзятых мыслей. То, что они называют наукой, есть их исповедание, их профессия; они наполнены и поглощены этою наукой и потому естественно заражаются, так сказать, научным фанатизмом». Насколько всё это верно по отношению ко мне (так как обо мне, к сожалению, идёт речь в этой главе), читатель вскоре будет в состоянии судить; он увидит, кто из нас более фанатик: я ли по отношению к Дарвину, или г. Страхов в своём культи Данилевского. Я, впрочем, далёк от мысли оспаривать, что и тип учёного имеет свои отрицательные — пожалуй, даже смешные — стороны; я, напротив, думаю, что они были достаточно эксплуатированы в литературе и даже на сцене. Но в свою очередь я думаю, а г. Страхов, может быть, даже знает «и из практики», что есть тип ещё более смешной: это — тип

неудавшегося учёного, тип человека, от науки отставшего, к другому делу не приставшего, сохранившего какой-то остаток горечи по отношению к этой недавней ему науке, убеждённого, что она остановилась, когда он забросил свои книжки, и пытающегося уверить себя и других, что наука движается не трудами учёных, а схоластическою диалектикой или внезапным осенением людей, от науки свободных.

Кроме двух основных моих недостатков (т.е. качеств учёного и профессора), г. Страхов усматривает во мне ещё два недостатка, т.е., с его высшей точки зрения, два смягчающих обстоятельства. Я преклоняюсь пред европейскою наукой и на таких «сияющих умом» деятелей, как Данилевский, смотрю как на дилетантов. Г. Страхов, как и подобает, глумится над этим преклонением пред европейскою наукой. «Слово европейская, — говорит он, — в глазах профессора и его слушателей означает «драгоценное качество», и далее иронизирует: «обязанность профессора у нас состоит, ведь, главным образом, в том, чтобы неустанно следить за общим направлением европейской науки и передавать его своим слушателям». Сознаюсь с полною откровенностью, что слово «европейская» имеет действительно «драгоценный» для меня смысл. Говоря: «европейская мысль», «европейская наука», я ни мало не противопоставляю ей какую-нибудь русскую мысль, русскую науку, — наука одна, и русская наука только один из голосов в общем хоре. Я только не смешиваю этого голоса с тем трусливым шипом или молодецким свистом, которыми многие безуспешно пытаются заглушить этот стройный хор общечеловеческой мысли. Что же касается обязанностей профессора, раз что и о них уже зашла речь, то я замечу, что всякое ремесло, в том числе и профессорское, имеет свои тяжёлые и свои священные обязанности. К числу тяжёлых обязанностей профессора относится обязанность читать книги толстые и книги глупые, что бывает вдвойне тяжело, когда толстые книги оказываются, в то же время, и глупыми. К числу же самых священных обязанностей профессора относится обязанность облегчать своим слушателям чтение толстых и глупых книг, снабжать этих слушателей компасом, при помощи которого они могли бы пробиться чрез самые непроходимые схоластические дебри, не рискуя в них окончательно заблудиться.

Второе обвинение (или оправдание, — право, уж не разберусь) заключается в том, что на Данилевского я смотрел как на дилетанта — с некоторою долей пренебрежения. Каюсь и в том, и в другом. Но скажите, как, если не дилетантом, назвать человека, который сегодня уничтожает филоксеру, завтра — Дарвина, а мимоходом и Европу? И как, если не

пренебрежением, называется то чувство, которое внушала синица, когда она не зажгла моря?

В заключение этой главы, г. Страхов похвально, что мог бы «разобрать по ниточкам все его (т.е. мои) промахи и недосмотры», но не делает этого только потому, что если бы это и было «весело» ему, то не было бы весело читателям. Позволительно, однако, сомневаться, чтобы г. Страхов рискнул проявить такое самоубийственное самоотвержение, — по крайней мере, во всей статье не заметно, чтоб он себе отказывал в этом веселье, — с каким успехом, читатель увидит. К тому же, посвятив 80 страниц разбору статьи, в которой их с небольшим 50, не только можно, но и должно было разобрать её «по ниточкам», и если этого не сделано, то уж, вероятно, не по отсутствию желания.

Наконец, на последних строках этого второго введения г. Страхов внезапно озадачивает заявлением, что для того, чтобы полемика была плодотворна, нужно найти, в чём заключается главная ошибка дарвинизма. Вот уж, признаться, не ожидал! Право, как обухом по голове. Да помилуйте, ведь, Данилевский уж нашёл эту ошибку или эти ошибки? Ведь г. Страхов возвестил же *urbi et orbi* о *полном* опровержении дарвинизма? Полнее полного не бывает. Стоит, значит, только предъявить «непонятный и искажённый» мною текст Данилевского. Оказывается, что нет. При *полном опровержении главную-то ошибку* и просмотрели. Данилевский, в двух своих томах, *n'a pas trouvé le joint*. Приходится начинать с начала. Г. Страхов отправляется, уже за свой счёт, в поиски за настоящим опровержением дарвинизма. Вот уж подлинно Сизифов труд!

III. Возможность и действительность.

Наконец-то к делу. Г. Страхов начинает с того краткого, сжатого определения естественного отбора (т.е. сущности дарвинизма), которое я предпосылаю разбору воззрений Данилевского. Я говорю, что если сопоставить три факта, не подлежащие сомнению, так как они вытекают из наблюдения ежедневной действительности, — факт изменчивости существ, факт наследственности признаков, факт геометрической прогрессии размножения, — то общий результат их, т.е. факт переживания наиболее

приспособленного или естественный отбор, является как логически «обязательный для нашего ума вывод»⁵.

Что же делает г. Страхов для того, чтобы лишить этот вывод его обязательной для нашего ума силы? Три раза, на двух страницах, повторяет он только что приведённые положения, с совершенно равнозначными приставками. По мнению дарвинистов, органические существа изменяются, изменения наследуются, размножение совершается в геометрической прогрессии, а я говорю, поясняет он: органические существа *могут* изменяться, изменения *могут* наследоваться и т.д., вплоть до конца. Дарвинисты говорят: отбор — только необходимое следствие изменчивости, наследственности и т.д., а я говорю, — повторяет г. Страхов, — отбор произойдёт, *если* произойдут изменения, *если* эти изменения унаследуются и т.д., опять до конца. Но, опасаясь, что эти *могут* и эти *если* недостаточно ещё пробрали читателя, он в третий раз перефразирует ту же мысль, с ещё более длинной приставкой. Вы говорите: изменения произошли, а я говорю: *могли произойти, а могли и не произойти*; вы говорите: наследственность передала, а я говорю: *могла передать, могла и не передать*, — и так далее, опять по всему ряду. В этом, с литературной точки зрения, безвкусном пережёвывании одной и той же мысли на три совершенно сходные лада, в этом убийственном, тоску наводящем толчении на одном месте, как мы увидим, заключается главный, победоносный аргумент всей статьи. Он означает вот что. Если, думает убедить своих читателей г. Страхов, я мог ко всем посылкам дарвинизма прилепить эти ядовитые приставки: *могут, если, могут, а могут и не*, то значит, что все эти посылки, т.е. изменчивость, наследственность, геометрическая прогрессия размножения — не факты, не реальная действительность, а лишь *возможности*, а, следовательно, и вывод из них — естественный отбор — возможность в кубе, т.е. полная невероятность. «Этот подбор, — докторально проповедует г. Страхов, — таким образом, вовсе не есть факт, с логическою необходимостью вытекающий из других несомненных фактов, а есть только возможность, выводимые из других возможностей, и, следовательно, тем более шаткая, чем больше нужно предполагать этих возможностей. Ошибка дарвинистов заключается, поэтому, в том, что они возможность принимают за действительность». А несколькими строками далее он уже тоном победителя восклицает: «И нет ничего легче, как придумать возможность, которая

⁵ Выражаюсь здесь нарочно словами Дюбуа Реймона, человека, как известно, способного логически рассуждать.

никогда не исполняется в действительности. Так и подбор в природе не существует».

Точно так ли? Не вернее ли, что между посылками и выводом г. Страхова нет никакой связи? Не вернее ли, что, прилепив свои «могут, не могут» к посылкам в одном, узком смысле, он желает получить их в выводе уже в совершенно ином, широком смысле? Подумал ли г. Страхов, что его приставки могут быть прилеплены к составным элементам почти любого реального, опытом удостоверяемого явления и что этим явление это (конечно, не на бумаге, а на деле) не будет перемещено из мира реальной действительности в призрачный мир придуманных возможностей?

Поясним дело на примере, нарочно избрав такую теорию, согласие которой с действительностью лежит вне сомнения. Объясняет ли наука, откуда берётся вода в реке, наприим., в Волге? Конечно, объясняет, и так удовлетворительно, что всеми это объяснение принимается за достоверную истину. А теперь посмотрим, выдержит ли эта научная теория натиск придуманных г. Страховым «могут, не могут». Происхождение воды на Волге объясняется приблизительно так. Из атмосферы падают осадки (дождь, снег и проч.); они просачиваются сквозь почву, образуют источники; источники образуют речки, реки, — словом, Волгу с её притоками. Так думают натуралисты, да и простые смертные. Но вот приходит философ, вроде г. Страхова, и ведёт такую речь: «Вы говорите, что дождь падает на землю; но, ведь, он *может* падать, а *может и не* падать; вы говорите: вода просачивается сквозь почву; но, ведь, она *может* просачиваться, а *может и не* просачиваться, например, испаряться; вы говорите, что вода собирается в источники; но, ведь, она *может* собираться, а *может и не* собираться, наприим., образовать болота, и т.д., до конца. Вся ваша теория, продолжает наш философ, объясняющая происхождение воды в Волге, только *возможность*, основанная на длинном ряде возможностей и, следовательно, «тем более шаткая». «Нет ничего легче, как придумать возможность, которая никогда не исполняется в действительности», «так и процесс, которым вы объясняете происхождение воды в Волге, в природе не существует». Не правда ли, какая блестящая диалектика, какой убийственно-логический вывод? Но подрывает ли он хотя сколько-нибудь достоверность нашего объяснения, переводит ли он его из области реальной действительности в область невероятной возможности?

Всякому человеку, привыкшему здраво рассуждать, понятно, где кроется логическая ошибка, в чём несоответствие между посылками и выводом. Ясно,

что слово возможность, применённое в известном, ограниченном смысле к части, распространяется в ином, более широком смысле на целое явление.

Когда я говорю, что такая-то научная теория только *возможна*, я этим хочу сказать, что она обладает самой низкой степенью достоверности, что она даже не может быть названа вероятной, что она только терпима, потому что не противоречит действительности, и, в сущности, совсем бесполезна. Сказать об естественно-исторической теории, что она только возможна, значит приравнять её к тем трансцендентальным, метафизическим построениям, которые в своё оправдание могут привести только то, что они мыслимы, т.е. не заключают внутреннего противоречия. В таком-то именно уничижительном смысле, очевидно, желал г. Страхов подsunуть своим читателям свой вывод: естественный отбор — не действительность, а только возможность, по крайней своей невероятности в природе не допустимая. Приклеить во что бы то ни стало на спину дарвинизму билетик с этим позорящим словом «возможность» — вот в чём была цель г. Страхова.

Но имел ли он на то право?

Когда я говорю: дождь может идти, а может и не идти, я только хочу сказать, что он может идти здесь или сегодня и не идти там или завтра, но ни в каком случае не в праве я делать из этого вывод, что существование *дождя вообще* (т.е. в течение года над всем бассейном Волги) могло быть подвергнуто сомнению. Ни в каком случае я не смею утверждать, что в объяснение происхождения вод Волги дождь входит только *возможным* фактором, которого действительность может и не оправдать. Когда я говорю, что вода может просачиваться в почву, а может и испаряться с её поверхности, я опять только заявляю, что эти явления заменяют одно другое в различных местах, в различное время, но не подвергаю этим сомнению, что известное количество всё же просочится чрез почву, и т.д. Дождь вообще, просачивание вообще, т.е. по отношению ко всему бассейну (что только и касается нашего объяснения), не возможности, а *реальные, наличные действительности*, почему и построенное на них объяснение не возможность в кубе или в какой-нибудь там высшей степени, как это выходило бы по г. Страхову, а простая *реальная действительность*. Совершенно так же, когда г. Страхов утверждает, что существа могут изменяться, а могут и не изменяться, то лишь в том ограниченном смысле, что иногда сходство с родителями почти полное, иногда же менее полное, но не вправе отрицать факт, что на свете не бывает двух живых существ абсолютно сходных, т.е. не может отрицать постоянной наличности изменчивости вообще. Когда он говорит, что наследственность

может проявляться, а может и не проявляться, то опять лишь в том ограниченном смысле, что один ребёнок уродится в отца, другой в мать, третий в деда и т.д., но не может отрицать факта наследственности вообще, т.е. закона, что организмы производят себе подобных. Следовательно, как дождь и пр., по отношению ко всему бассейну реки — постоянно наличная действительность, точно так же изменчивость, наследственность, геометрическая прогрессия размножения по отношению к общему течению органического мира (в пространстве и во времени), постоянно наличная действительность и результат из этих фактов, т.е. происхождение реки и изменение организмов путём естественного отбора, такая же «обязательная для ума» *«реальная действительность»*, проверяемая снова реальной действительностью.

Вся аргументация г. Страхова сводится собственно к тому, что когда нет в наличности всех факторов, из которых слагается отбор, то не будет и отбора. Т.е. отбора не будет, когда его не будет. То же очевидно и по отношению к реке. В странах с постоянным или перемежающимся бездождем реки отсутствуют или имеют перемежающееся существование. Но эти исключения в обоих случаях, как и всегда, только подтверждают правило. Из того, что рек не существует там, где их не существует, нельзя делать заключение, что рек вообще не существует.

Сущность софизма г. Страхова, я полагаю, теперь всякому понятна. Из того, что данное явление (или факторы, из которых оно слагается) не всегда и не везде повторяется с неизменным однообразием, делается ни с чем не сообразное заключение: значит, и *всё* явление, во всей своей совокупности, имеет сомнительное, проблематическое существование; оно существует не в реальной действительности, а лишь в области призрачной возможности. Следуя логике г. Страхова, на основании того, что солнце *может* только слабо светить в пасмурные дни и *вовсе не может* светить ночью, я должен бы заключить, что и *всё* учение о зависимости органического мира от солнца построено на *возможностях*.

Таким образом, попытка г. Страхова эскамотировать реальную действительность естественного отбора и, вместо неё, оставив в руках у слушателя слово «возможность» в самом оскорбительном для научной теории смысле, оказывается очень прозрачным диалектическим фокусом. Фокус этот, тем не менее, очень ценен для г. Страхова. Главное его достоинство, что он легко запоминается: прочёл заголовок III главы — и знаешь главную суть всей статьи: дарвинизм построен не на почве фактов,

наблюдаемых в природе, а на придуманных возможностях, — он не действителен, а только возможен. Какая простая, легко запоминаемая формула! Жаль только, что она противоречит здравой логике и потому *не только недействительна, но и невозможна*.

Г. Страхов, впрочем, сам, по-видимому, сознаёт, что вся эта глава представляет только — hors-d'oeuvre. Для того, чтоб опровергнуть дарвинизм, ещё не достаточно доказательства, что он возможен, нужно ещё доказать, что он *не возможен*. А для того, чтобы доказать невозможность возможного, нужно только доказать, как поясняет в конце главы г. Страхов, что это возможное противоречит действительности. Давно бы так. Умные речи и слушать приятно. С того бы и начать. Ещё в своей статье я сказал: для того, чтобы доказать, что не существует естественного отбора, нужно только доказать, что его не существует — не более, но и не менее этого. Вместо того, чтобы туманить ум читателя этою софистикой о действительном и возможном, нужно было просто сказать ему следующее: дарвинисты выдают свой естественный отбор за действительность, пусть так; но против их действительности мы выставляем свою действительность, истинность которой доказываем тем-то и тем-то. А так как двух взаимно исключающих действительностей быть не может, а наша действительность настоящая, не подлежащая сомнению, то, значит, их действительность ложная. Что и требовалось доказать. Это была бы аргументация простая и ясная. Не потому ли она и не входила в расчёты г. Страхова? Выше я заметил, что троекратное повторение одной и той же мысли, мне кажется, противоречит требованиям изящного вкуса. Но я боюсь, что я сказал наивность. У г. Страхова тут мог быть тонкий расчёт. Весь смысл этой главы в том и заключался, чтобы этими повторениями, однообразными, как дробь барабнящего по крыше осеннего дождя, усыпить, загипнотизировать читателя, и в этом состоянии внушить ему безотчётное отвращение к дарвинизму, сделать так, чтобы от этого дарвинизма у него остался как будто неопределённый дурной вкус во рту, какое-то смутное представление, что это не наука, а какое-то придуманное метафизическое построение, с которым и церемониться-то нечего. Как весь смысл двух введений заключался в том, чтобы во что бы то ни стало, хотя бы в ущерб истине, пробудить в читателях антипатию к моей личности, так и здесь нужно было не убедить или разубедить его в чём-нибудь, а только прочно заронить в него безотчётное предубеждение против дарвинизма и уже на этой благодарной почве приступить к настоящему делу, т.е. к доказательству, что дарвинизм противоречит природе.

Поспешим же узнать, в чём заключается это противоречие, раскрытие которого обещано в следующих главах, а эту; как не оправдавшую хвастливого обещания найти «главную ошибку» дарвинизма, зачеркнём красным крестом. Так *мстит логика* всем, кто её смешивает с своими диалектическими фокусами.

IV. Книга природы.

Но и здесь, с первых слов, читателя ждёт полное разочарование. Вместо обещанного открытия, что дарвинизм противоречит действительности, т.е. природе, оказывается, что речь пойдёт только о противоречии между дарвинизмом и одной метафорой Руссо, которую г. Страхов заимствует из моей статьи⁶. Метафора красивая, для своего времени, как я указал, имевшая значение, но представляющая, как я также указал, тот естественный недостаток, что она устарела на одно столетие. Делать нечего, приходится повторяться. Против попытки Эмпедокла и материалистов восемнадцатого века — объяснить совершенство органического мира случаем — Руссо метко возражает, что всё равно было бы утверждать, что рассыпавшийся случайно типографский шрифт расположится в Энеиду. Приведя этот красноречивый аргумент Руссо, я на нескольких страницах доказываю, как изменилась точка зрения со времени Руссо и как Дарвин устранил это ребяческое объяснение слепым случаем, открыв в природе процесс, своего рода механизм, который именно упорядочивает этот слепой случай, направляя его неизбежным, роковым образом к определённому результату, к сохранению совершенных (в смысле приспособленных к условиям существования) и гибели несовершенных форм жизни, — другими словами, к тому, что мы разумеем под словами гармония или целесообразность органической природы. Г. Страхов в двух главах перефразирует это красивое, но уже к делу не идущее сравнение Руссо. Меткая, образная метафора у него расплзается на целые страницы, переворачивается и так, и этак, с бесконечными длиннотами, от

⁶ Г. Страхов уверяет, будто эта ссылка «употребляется часто дарвинистами». Признаюсь, я думал, что я первый обратил внимание на эти слова Руссо, и если б г. Страхов указал, у какого дарвиниста он встречал их ранее, я охотно исправил бы свою ошибку. Странно только, что, вопреки избитости этой ссылки, ни Данилевский, ни г. Страхов не воспользовались ею ранее меня. Впрочем, дело не в том, я ли или кто другой в первый раз цитировал это место Руссо, а в той характеристической особенности, что всегда самое лучшее оружие *против себя* находили или сам Дарвин, или дарвинисты, и вежливо передавали его в руки врагов, приглашая их убедиться, что оно не опасно.

которых мысль Руссо, не выигрывая ничего в логической, очень много утрачивает в эстетической силе.

Для того, чтоб мнение это не показалось голословным, остановимся на этой длинной амплификации аргумента Руссо. Руссо говорит, что случайно рассыпавшийся шрифт не сложится в Энеиду, и с этою мыслью, выраженной в одной строке, читатель, конечно, соглашается. Г. Страхов на целой странице убеждает читателя в невероятности предположения, чтобы этим способом, хотя бы и в несколько приёмов, т.е. разбрасыванием шрифта и устранением неудачных комбинаций, сложилась бы книжка толстого журнала, и, по-видимому, очень доволен, когда ему удаётся убедить читателя, что это было бы «чудовищно невероятно». Одного только он не замечает, что то, против чего боролся Руссо, не то, против чего борется он, г. Страхов; что Руссо с этою аргументацией не выступил бы против дарвинизма, потому что... да просто потому, что он был Руссо, а не г. Страхов. Поясним, в чём, главным образом, изменилась точка зрения, придерживаясь того же сравнения Руссо. Энеида не может сложиться случайно, толстая книжка журнала не может набраться сама собою, хотя бы в несколько приёмов, — это такие понятные истины, что для этого не стоило мучить читателя на целых страницах; он сдался бы и без этой пытки. Но представим себе, что человеческая речь состояла бы всего из двух слов, скажем для примера, из слова «вперёд» и слова «назад», а слова эти были бы отлиты в две стереотипные дощечки. Представим себе далее, что типографии одного журнала было бы внушено печатать только слово «вперёд», а типографии другого журнала — слово «назад». Скажите, неужели было бы «чудовищною невероятностью», если б в первой типографии выходило всё «вперёд», «вперёд», а во второй — всё «назад», «назад»? Я полагаю, самого несложного, автоматически действующего механизма было бы достаточно для того, чтобы достигнуть этого результата. Так и в типографии природы. В ней набираются не заранее намеченные предложения, строки, страницы, тома. В ней также набираются два слова: «полезно» (вперёд) и «вредно» (назад), и каждый раз, что выпадает дощечка со словом «полезно», она идёт в дело, каждый раз, что выпадает дощечка со словом «вредно», она отбрасывается, и автоматический наборщик, исполняющий этот нехитрый труд, называется — *естественный отбор*, фигура не фиктивная, а, как мы видели в предшествовавшей главе, вполне реальная.

Пока природа представлялась пышным чертогом, созданным для человека, пока, наприм., цветы были только ковром для его ног, их ароматы — фимиамом, возносившимся пред его лицом, до тех пор многое было трудно объяснить; но когда оказалось, что всё это существует только потому, что оно

полезно тем существам, которые им обладают, когда оказалось, что в природе вообще существует только то, что полезно самим обладателям, тогда задача значительно упростилась⁷. В музыке великие художники разрабатывают самые простые темы в роскошных вариациях. Органический мир представляет бесконечные вариации на эту простую тему — «польза».

После этой неудачной амплификации уже к делу не идущего аргумента Руссо, г. Страхов вдруг принимается делать мне внушение за то, что я будто бы не понимаю различия между задачей астрономии, биологии и психологии. Всё это по следующему поводу. Данилевский, в философской части своей книги, очень патетически объясняет, что так как материалом для отбора служат случайные изменения, то весь дарвинизм сводится к случайности, а от этой одной мысли должно будто бы человека «тошнит», должны у него «переворачиваться внутренности». На это я, между прочим, возражаю, что солнце всегда представлялось олицетворением непоколебимого совершенства, источником всех благ на земле, лучезарным Фебом и, однако, современная астрономия учит нас, что поверхность солнца представляет настоящий хаос случайных явлений⁸. И, однако, этот хаос мелких, случайных явлений не мешает солнцу в целом оставаться, в наших глазах, тем же, чем оно было до сих пор, и от этой мысли никого ещё не «тошнило». Г. Страхов докторальным тоном поучает меня, что мысль о случайности в сфере неорганических явлений не может так возмущать ум, как мысль о той же случайности в сфере явлений биологических и ещё более психических. «Г. Тимирязев спрашивает, почему того же (т.е. того, что я говорил по поводу солнца) нельзя сказать и об органическом мире? Станный вопрос, особенно странный в устах биолога! Я думаю, потому, что нельзя смешивать различные вещи, потому что задача, представляющаяся нам в органическом мире, есть, очевидно, особая и несравненно более высокая задача, чем задача

⁷ Весьма наглядно выражается это коренное различие во взглядах Руссо и дарвинистов на следующем примере. Бесконечное разнообразие форм листьев и однообразие корней Руссо объясняет тем, что первые предназначены пленять взоры человека, а вторые скрыты от них. Современные дарвинисты, в целом ряде исследований, объясняют *пользу для самого растения* малейших особенностей строения, формы и распределения листьев. Здесь вполне кстати напомнить читателю одну подробность нашей полемики. Дарвин указывал, что во всём органическом мире нельзя найти ни одной черты строения, которая была бы исключительно полезна не для существа ею обладающего, и что такой факт был бы серьёзным возражением против его теории. Данилевский с непонятным легкомыслием утверждал, что на той самой странице, на которой он это пишет, Дарвин сам приводит такой опровергающий его теорию пример. Г. Страхов, между прочим, рекомендовал это место книги Данилевского, как одно из образцовых. Я показал, что ничего Данилевскому доказать не удалось и что он при этом только обнаружил «самоуверенный задор». Нажаловавшись на меня читателю за то, что я прибегаю к таким резким выражениям, г. Страхов, однако, благоразумно предал забвению весь этот неприятный для него эпизод.

⁸ Г. Страхов, по-видимому, в этом сомневается и говорит, что трудно понять, что я под этим разумею. Но мне поучать его популярной астрономии, конечно, не приходится; потому могу только рекомендовать ему книги Юнга, Лянглея и др.

астрономии. Для ясности сделаем ещё шаг. Кроме органических явлений, существуют ещё психические, есть область нравственных и умственных форм, в которой мы постоянно вращаемся. Тут задача нашего ума опять иная, опять неизмеримо более высокая. Итак, что же удивительного, что мы не сваливаем всего в одну кучу и различаем, где есть различие? Ведь, это — первое научное правило».

Тон, как видят читатели, который можно упрекнуть в чём угодно, но уж никак не в недостатке самонадеянной развязности. Но мне сдаётся, что источник этой самонадеянности лежит в довольно странном самообольщении. Убаюкав себя мыслью, что его читатели моей статьи не читали и не станут читать, г. Страхов, кажется, вообразил, что и я сам, вероятно, забыл, что я писал, и поленюсь справиться. Как иначе объяснить себе эту развязность, с которой он, как школьника, поучает меня азбучной истине о существовании иерархии наук, очень хорошо зная, что вся его тирада о промежуточном положении биологии уже мною предусмотрена в моей статье, что в том месте, на которое он ссылается, на которое он будто бы возражает, у меня идёт речь не об одной астрономии, а именно об астрономии и *истории* (вместо его психологии), что вся моя аргументация в том именно и заключается, что я ставлю биологию *между астрономией и историей* (как у него между астрономией и психологией) и говорю, что если элемент случайности, встречаясь в астрономии и истории, не возбуждал ни в ком «тошноты», то почему же он специально должен вызвать это расстройство, встречаясь в промежуточной между ними области биологии? Вот весь ход моего рассуждения. Астроном видит случайные явления, встречающиеся на поверхности солнца, но это не мешает ему изумляться, по-прежнему, стройности целого, видеть в солнце центральное светило, управляющее движениями планет, разливающее вокруг себя свет и жизнь. Историк сознаёт, что историю делают люди, с их страстями, ошибками, предрассудками, и это, однако, не мешает ему видеть, что из борющихся случайных единичных стремлений слагается величественный процесс исторического прогресса. Точно так же, если биолог доказывает, что процесс органического развития, располагая таким же случайным материалом, приводит его к такому же изумительному результату, как и процесс исторический, то я не вижу повода кричать, что от этой мысли должны «переворачиваться внутренности». Вот что я говорю; вот против чего должен был возражать г. Страхов. Но, видно, это было не так легко, как скрыть мою настоящую мысль, выдать половину моего довода за целый и беззастенчивостью своего тона, которую примут за правдивость, заставить

читателя, пожалуй, действительно поверить, будто мне в голову не пришла такая простая мысль, что задача биологии сложнее задачи астрономии.

Да, логика *мстит за себя жестоко!* Тех, кто не могут бороться её чистым оружием, она вынуждает прибегать к такому жалкому приёму, каково умышленное искажение мыслей своего противника.

V. Стереотип.

Г. Страхову показалось, что он недостаточно ещё эксплуатировал метафору Руссо; в этой главе он снова к ней возвращается, о чём свидетельствует и типографский термин, красующийся в заголовке.

Но да не подумает читатель, что здесь идёт речь о всем нам знакомом стереотипе, т.е. металлической доске. Нет, стереотип г. Страхова — это живое лицо, это — господин стереотип, ремеслом, по-видимому, паяльщик, а его непроизводительное занятие заключается в том, чтобы портить типографский шрифт, спаивая Гуттенберговы подвижные буквы, по нескольку, в слова или целые строки. Для чего понадобилась г. Страхову эта аллегорическая личность, которую прогнали бы из всякой типографии, — так для меня и осталось непонятным. Ведь, с г. Страховым всякий читатель уже согласился, что из типографского шрифта, как его ни перетряхивай, наудачу не сложится книжка толстого журнала, — согласился вполне, безусловно, бесповоротно, для чего же понадобилось ему возвращаться к этой аллегории, ещё усложнённой присутствием какого-то фантастического паяльщика? Ведь, против этой аллегории можно возразить только то, что она к делу не идёт. Толстая книжка журнала не может сложиться наудачу, потому что она должна соответствовать тому, что уже ранее существовало в рукописи или вообще в мыслях человека, потому что составляющие её буквы расположены в известном, связанном общим смыслом порядке. Чудовищная невероятность заключается именно в том предположении, что случайно рассыпающиеся и перетряхиваемые буквы расположатся в заранее определённой законами человеческой мысли, а не в какой бы то ни было последовательности. Вот если бы г. Страхов и ему подобные философы нашли оригинал, по которому набиралась книга природы, тогда их типографские метафоры получили бы определённый смысл. Но именно эти-то метафизические представления о «плане творения», о «профетических типах» и пр., которыми изобилвала наука до Дарвина, исключил он из круга своих соображений, и в этом его

главная заслуга. Дарвинизм отрицает в строении организмов заранее определённую идею или план, следовательно, и сравнение с набором, связанных известным смыслом, слов, предложений и страниц сюда не идёт; для выбора же между двумя словами: «полезно» или «вредно» — и механизма отбора вполне достаточно. Таким образом, мы раз навсегда развязываемся с этой типографскою аллегорией и, признаюсь, по прочтении этих двух глав г. Страхова мне только стало жаль бедного Руссо. Ну, зачем я его подвёл; зачем его действительно красноречивая, убеждённая речь останется в понятии многих читателей неразлучною с воспоминанием о комической фигуре этого господина стереотипа?

Впрочем, спешу оговориться; может быть, я не совсем прав; этот стереотип, может быть, и не комическая, пожалуй, даже, наоборот, очень трагическая личность: это — нечто вроде анти-Гуттенберга. Г. Страхов, как известно, не вполне одобряет изобретение Гуттенберга. В статье *«Полное опровержение дарвинизма»* меня поразило одно место, где он с озлоблением говорит, что, благодаря этому изобретению, по свету гуляют такие возмутительные заблуждения, как дарвинизм. В простоте душевной я думал, что, ведь, благодаря этому же изобретению, распространялись и здравые идеи г. Страхова. Теперь я понимаю, что в воображении г. Страхова, вероятно, уже тогда мелькал неясный образ стереотипа, при помощи которого можно было бы окончательно обезвредить это обоюдоострое изобретение Гуттенберга. В самом деле, стоит только ещё, в последний раз, воспользоваться этими коварными подвижными буквами, набрать из всего наличного на свете шрифта одни только хорошие книги (творения Данилевского, г. Страхова и др.), а затем пригласить господина стереотипа, чтоб он раз на всегда запаял человеческую мысль в определённые, на веки нерушимые формы и тем спас её от повреждения.

VI. Пример сирени.

Наконец-то к делу. Помилуйте, возразит читатель, ведь, вы повторяетесь; уже за три главы вы объявили, что переходите к делу. Вина не моя, если г. Страхов не различает реальной действительности от своих типографских аллегорий. Итак, приступаем к настоящему делу, к научной критике дарвинизма, к фактическим доводам, будто бы доказывающим его противоречие с природой.

Начинает г. Страхов эту главу заявлением какой-то, ни с чем не сообразной, смешной претензии. Он укоряет меня за то, что в своей *публичной лекции* я не сообразовался с теми главами, на которые ему вздумалось разбить свою статью «*Полное опровержение дарвинизма*». «Г. Тимирязеву не угодно было следовать за мной», — говорит он, очевидно, обиженным тоном и затем пытается уверить читателя, что я произвольно выхватил «один пункт» из книги Данилевского, не упоминая «о полном составе аргументации». Но, говоря это, г. Страхов не может не сознавать, что он умышленно злоупотребляет доверием своих читателей. Не один какой-нибудь пункт выбрал я для опровержения, а самый главный, самый центральный, на котором построено всё опровержение, — словом, тот пункт, который г. Страхов с восторгом называл «истинным открытием Н. Я. Данилевского». Всё это г. Страхов сам подтверждает последними словами этой самой VI главы. Но я не ограничился этим: я привёл (опять останавливаясь на самом важном, для дела существенном) целый ряд примеров, иллюстрирующих, как обработаны у Данилевского частности. Не мог и не хотел я только, подобно г. Страхову, расплываться в ненужных подробностях; я показал, как жалка главная аргументация, и предоставил досужному читателю вылавливать мелкие промахи, щедрою рукой рассыпанные по всей книге.

Напомню в двух словах, в чём заключается этот главный пункт, на котором построено всё пресловутое доказательство, что естественного отбора «не существовало, не существует и существовать не может». Это тем более необходимо, что вся статья г. Страхова вертится вокруг да около этого пункта. Данилевский, при помощи теории вероятностей, доказывает невозможность возникновения в природе, в естественном состоянии, новой *чистокровной* породы, а так как, *по его мнению*, дарвинизм построен будто бы на предположении, что в природе возникают чистокровные породы, то из этого понятен торжествующий вывод: значит, весь дарвинизм построен на абсурде.

На это я возражал, что не только Дарвин или дарвинисты, но ни один человек, «не повредившийся в своих умственных способностях», не станет утверждать, что достаточно спустить в степь английского скакуна для того, чтоб образовалась *чистокровная* порода английских скакунов. Такого нелепого предположения Дарвин не делал и не мог делать; придумал его Данилевский, навязал Дарвину и затем торжественно, математически, на ста с лишком страницах, доказал, что придуманная им нелепость — нелепа. Я показал в своей статье, что возражение Данилевского касается не дарвинизма Дарвина, а дарвинизма, выдуманного самим Данилевским. Вот к чему я свёл

пресловутое «истинное открытие» Данилевского, так превознесённое г. Страховым.

Вопрос мною поставлен ясно. Посмотрим, что же делает г. Страхов для того, чтобы затемнить его, сбить с толку своего читателя? Я совершенно согласен с Данилевским, что «чистокровное размножение», при естественных условиях, невозможно; мало того, я говорю, что не было надобности удивлять читателя применениями теории вероятности для доказательства такого очевидного факта. Я только говорю, что дарвинизм никогда не утверждал, что это невозможное — возможно. Я говорю только, что Данилевский промахнулся, не попал в цель. Ясно, что г. Страхов, защищая Данилевского, должен был доказать, что именно я не знаю настоящего дарвинизма, что, напротив, дарвинизм Данилевского и есть настоящий, и что этот-то дарвинизм ему удалось опровергнуть. Но что же он делает? Нечто невообразимое. Тимирязев, — говорит он, — признаёт образование чистокровной породы *невозможным*, «но он, конечно, питает *полное уважение* к знаменитому ботанику Негели, на которого не раз ссылается, как на *большой авторитет*», а этот самый Негели «очень часто говорит о чистокровном расщеплении (Reinzucht) и очень старательно *доказывает его полную невероятность*»... Какая глупая опечатка! — подумает читатель, привыкший к обыкновенной логической аргументации. Здесь, очевидно, должно стоять *его полную вероятность*, потому что где же иначе противоречие? Тимирязев считает явление *невозможным*, Негели считает то же явление *вполне невероятным*, а г. Страхов думает, что словами Негели побивает Тимирязева? Нет это не опечатка, это только образчик логической аргументации г. Страхова. Не довольствуясь этою неудачною выпиской, г. Страхов приводит ещё вычисления Негели и в заключение торжественно восклицает: «Так говорит Негели. Теперь посмотрим, что на это скажет г. Тимирязев; он так воспламенился на шутку о сирени, что когда мы подставим ему Негели, вместо Н. Я. Данилевского, выйдет интересное зрелище». Интересное или нет будет зрелище, не знаю, но только совсем не такое, какого ожидает г. Страхов. Имея, как он выражается, «охоту пошутить над г. Тимирязевым», г. Страхов забыл французскую поговорку *rira bien, qui rira le dernier*. Что я скажу? — любопытствует узнать г. Страхов. А вот что я скажу.

Скажу я, во-первых, не комично ли, прежде всего, положение, в которое добровольно ставит себя сам г. Страхов, проповедующий «борьбу с Западом», чающий искоренения вредоносной западной науки какою-то внеевропейскою русскою наукой и бегущий, чуть дело за спором, судиться к представителю той же тлетворной науки Запада? Во-вторых, я скажу, что *magister dixit* (что в

настоящем случае пришлось бы перевести «немец сказал») я никогда не признавал и не признаю за логический аргумент. Мнения, чьи бы то ни были, для меня только слова, — убедительную силу я признаю за фактами и логическими доводами. А, в-третьих, я попрошу г. Страхова объяснить, на основании каких признаков он так решительно заключает, что Негели для меня должен быть роковым, безапелляционным авторитетом? На каком основании вообразил г. Страхов, что, храбрясь перед Данилевским, я должен струсить перед Негели? Представьте себе, что я нисколько-таки не боюсь его. Представьте себе, что имею даже право не бояться его. Представьте себе, что между живущими учёными, пожалуй, не найдётся второго, который имел бы такое право, как я, не бояться авторитета этого страшного господина Негели. Не ожидал этого г. Страхов, когда собирался потешиться над моим испугом? Так как, можно сказать, вся сущность этой главы (и не этой одной) сводится к запугиванию меня и ещё более читателя голословными мнениями Негели, то будет вполне уместно рассмотреть, насколько *мнения* этого учёного для меня авторитетны. Что такое Негели, как теоретик, и что такое его пресловутая механическая теория, которой он думает упразднить дарвинизм? Как теоретик, это самый злосчастный неудачник. Не говоря о второстепенных его неудачах, укажу только на судьбу важнейшей из его теорий, его излюбленного детища, главной задачи его научной деятельности — теории роста и молекулярного строения растительных тел. Этой теории была посвящена чуть не тысяча страниц; она была принята всеми немецкими ботаниками, провозглашена одним из высших памятников человеческого ума, господствовала в течение более чем четверти века, как неоспоримый догмат. И об этой-то великой теории, в разгар полного перед ней преклонения, один начинающий русский ботаник, ещё восемнадцать лет тому назад, в публично защищаемом тезисе осмелился выразиться так: «В подтверждение господствующего учения о росте, равно как и в опровержение прежнего учения не приведено ни одного убедительного довода»⁹. Это был я, г. Страхов, — из чего вы можете судить, как давно я перестал бояться вашего грозного авторитета. Но кто же оказался прав: немецкий авторитет или неизвестный русский ботаник? От пресловутой теории не осталось камня на камне, — главные факты оказались совершенно неверными, — противная теория торжествует по всей линии. Самые горячие защитники теории Негели тщательно избегают даже упоминать о ней. Как же могло случиться, что я предсказал судьбу, постигшую эту теорию? Очень просто. Убедившись на опыте в неточности двух-трёх фактов, на которые опиралась теория, я

⁹ Первый тезис, приложенный к моей магистерской диссертации 1871 года.

вооружился этою ненавистною для г. Страхова логикой¹⁰, задал себе труд обнажить для самого себя остов всей аргументации Негели и убедился, как она слаба. Именно Негели и его произведения имел я, главным образом, в виду, говоря в своей статье *«Опровергнут ли дарвинизм?»* что встретил в книге Данилевского приём, знакомый каждому, кто имел несчастье изучать толстые полемические сочинения, — приём, заключающийся в том, чтобы потопить свои доводы в массе мелких подробностей, растасовать их так, чтобы обыкновенный, не досужий читатель не мог свести концов с концами и принял бы выводы на веру. Имею ли я после этого право скептически относиться к *мнениям* Негели, или нет? Имею ли я право делать различие между фактами, добытыми Негели, и его голословными суждениями? А теперь, может быть, г. Страхову любопытно знать, «что я скажу» о книге Негели, на которую он ссылается, о его пресловутой теории «идиоплазмы», которая должна вытеснить дарвинизм. В основе, эта теория не что иное, как перифраза Дарвина «пангенезиса». А что такое «пангенезис»? Слушайте, г. Страхов, и изумляйтесь. Пангенезис, это — учение «не научное в основе, бесплодное в последствиях». Это опять я, фанатический поклонник Дарвина, каким желал бы отрекомендовать меня своим читателям г. Страхов, так выразился об этой гипотезе в эпоху наибольшего увлечения ею и подражания ей в Германии. Это ли отношение фанатика к предмету своего поклонения? Осмелился ли бы, напр., г. Страхов выразиться так о каком-нибудь измышлении Данилевского? Если я так беспощадно выражался об ошибке Дарвина, то, конечно, имею право так же относиться к бессодержательно трансцендентальной гипотезе идиоплазмы, представляющей только растянутое подражание этой, едва ли не единственной, ошибке Дарвина¹¹. Итак, авторитетного мнения, не подкрепляемого фактами или доводами, для меня не существует вообще, мнения же Негели — в особенности. А где же факты, где доводы? Где доказательство, что дарвинизм не может обойтись без нелепого предположения об образовании в природе чистокровных пород? Где ссылка на сочинения Дарвина, в которой встречалось бы это чудовищное предположение? Ничего такого, конечно, не могли предъявить ни Данилевский, ни Негели. За невозможностью найти подходящую аргументацию в подлежащем направлении, г. Страхов довольствуется выписками из Негели, к делу не относящимся, лишь бы в них были выражения, неодобрительные для дарвинизма. Он приводит, напр., мнение Негели, что

¹⁰ Г. Страхов прямо корит меня за упоминание о логике.

¹¹ Вот характеристический образчик отношения к этой теории Негели учёного, которого, конечно, не заподозрят в легкомыслии, известного, недавно умершего Де-Бари. Когда я, улыбаясь, спросил его, какого он мнения о ней, он, со свойственною ему живостью, отвечал: «Какого я мнения? А разве о таких вещах дают себе труд составлять какое-нибудь мнение?»

теория *миграций* недопустима. Что это за теория *миграций*, — спросит, может быть, читатель, — это, конечно, часть дарвинизма? Нет, читатель, это теория немецкого учёного Вагнера, о которой Дарвин говорит так: «Но на основании доводов, уже ранее приведённых, *я ни в каком случае не могу согласиться с мнением этого натуралиста*, что миграция и изоляция — необходимые условия образования новых видов». Дело, значит, вот в чём: Вагнер пристроил к дарвинизму свою теориейку миграций, как поправку, с которой Дарвин *ни в каком случае* не согласен. Негели рассуждает так: прямо возражать против Дарвина я не могу, — ну, так буду возражать против Вагнера. Вагнер не доволен дарвинизмом и предлагает свою поправку, значит, стоит опровергнуть Вагнера, благо это легко, чтобы развязаться с дарвинизмом. Что за дело до того, что Дарвин сам отвергает мнение Вагнера? А г. Страхов благоразумно скрывает от своих читателей, что автор учения о миграции не Дарвин, а Вагнер. Да и не всё ли равно, Дарвин ли, Вагнер ли, лишь бы у читателя осталось смутное впечатление, что г. Страхов, при помощи Негели, что-то опроверг. И это называется научная полемика!

Но что же говорят *факты* Негели, на которые я ссылаюсь в своей статье и которые Данилевский благоразумно обошёл молчанием? Они доказывают то, что утверждал и Дарвин на основании своих наблюдений, именно, что в природе не существует безграничного скрещивания, что, в естественном состоянии, даже мелкие разновидности, которые легко *могли бы давать* помеси, в *действительности их не дают*, т.е. уживаются рядом, не смешиваясь. Дарвин прямо заявляет, что ему известны такие примеры. Данилевский отмахивается от этих неприятных для него фактов, на том только основании, что Дарвин не перечислил этих примеров. Но Негели их перечислил, — это десятки разновидностей *Hieracium*, разводимых им на грядках ботанического сада. Негели категорически высказывает мнение, что в природе это явление широко распространённое. Следовательно, по Негели, в природе существует несомненное противодействие безграничному скрещиванию, но Данилевский и г. Страхов находят излишним об этом распространяться. К чему развлекать внимание читателей неудобными для них фактами, когда можно смутить его глухими, голословными рассуждениями?

Итак, вычисления Негели (как и позднейшие вычисления Данилевского) доказывают, что сохранение в природе чистокровной породы невозможно. Но это утверждаю и я: я только иду далее и говорю, что незачем прибегать к вычислениям для доказательства такой очевидной истины. Следовательно, пока дело идёт о факте, Негели совершенно согласен со мной.

Но сущность возражения Негели и Данилевского, заключающаяся в том, что весь дарвинизм построен будто бы на допущении этой невозможности, так и остаётся голословною, ничем не подтверждённою напраслиной, так как ни Дарвин, ни его последователи этого допущения не делают и в нём не нуждаются¹². Возражения Данилевского и Негели опровергают что угодно, но не дарвинизм.

Факты же Негели, систематически скрывааемые Данилевским и г. Страховым, только блестящим образом подтверждают положение Дарвина, что скрещиванию в природе кладётся весьма скоро предел каким-то, ближе нам неизвестным, но не подлежащим сомнению свойством организмов, — способностью их не скрещиваться даже при кажущейся полной возможности этого процесса, т.е. при совместном существовании.

Факты Негели я признаю и они говорят за Дарвина и против Данилевского, голословные же его суждения (вроде возражения Вагнеру, вместо Дарвина) отрицаю и имею на то право, не только на общем основании, но и специально в применении к Негели, в виду несчастной участи, постигшей и его более продуманные теории.

Не знаю, показался ли г. Страхову смешон этот неожиданный результат очной ставки между мной и Негели, в предвкушении которой он уже с удовольствием потирал себе руки.

Впрочем, г. Страхов сам очень хорошо сознаёт, что все эти никого не убеждающие ссылки на Негели рассчитаны только на внешний эффект, на уверенность, что, в глазах читателя, доморощенный учёный должен всегда стоять руки по швам перед немецким авторитетом; английской науки, как известно, г. Страхов не допускает, как и вообще не признаёт за англичанами способности к здравому мышлению; но об этом в своём месте. Очень хорошо понимает он, что в приведённых им выписках не заключается и тени *доказательства*, будто дарвинизм нуждается в навязанном ему абсурде, но как же вывернуться, как же, заключая главу, оставить, читателя под впечатлением, что победителем из спора вышел он, г. Страхов? Он прибегает к *ultima ratio* всех слабых — смело и уверенно говорит и повторяет прямо противное истине. Он утверждает, что «не только Дарвин и дарвинисты

¹² Стоит читателю прочесть следующую строку за теми, которые цитирует г. Страхов (Naegeli: «Mechanisch-physiologische Theorie», стр. 313), и там, на примере жирафа, он убедится, что Дарвин говорит не о происхождении этого животного от какого-нибудь случайного предка, сохранившего своё потомство от скрещивания (как в примере о сирени), а от всех предков, имевших шеи на два, на три дюйма длиннее остальных. Следовательно, о возникновении и сохранении чистокровного потомства одного неделимого нет и речи.

делают это предположение чистокровного приплода, но это предположение составляет неизбежную, исходную точку всей теории подбора», и, окончательно ободряемый звуками собственного своего голоса, заканчивает главу ещё более беззастенчивым заявлением. «Так учил Дарвин», и проч., и проч.

Нет, и тысячу раз нет, г. Страхов! Так Дарвин не учил и не мог учить, потому что, в таком случае, он не нашёл бы читателей для своей книги и сам кончил бы свой век не в Дауне, а в Бедламе. Смелость, говорят, города берёт, но в науке смелость, подобная той, которую проявляет в настоящем случае г. Страхов, ни к чему не приводит. В науке принято, что, взводя на своего противника какую-нибудь нелепость, подтверждают свои слова ссылкой на его сочинения. По правилам научной полемики, г. Страхов должен был указать ту главу, страницу, строку, где Дарвин «учит» взводимой на него нелепости; но он знает, что не может этого сделать, как не мог этого сделать и Данилевский, и потому вся его надежда рассчитана на робкого читателя, который примет этот смелый, самоуверенный тон за убеждение в своей правоте.

Подводим итог этой самой существенной стороне всего спора¹³.

Данилевский утверждает, и совершенно верно, что появившееся индивидуальное отклонение не может сохраниться *во всей* своей чистоте и неприкосновенности, но из этого делает ни с чем не сообразное заключение: значит, *никакое* уклонение, в какой бы то ни было степени чистоты, не может сохраниться. *Не всё — значит ничего*, — вот блестящий силлогизм, на котором основано его опровержение естественного отбора, т.е. дарвинизма. Я ему возражаю, что между *всё* и *ничего* лежит вся реальная действительность. Если в природе не может сохраниться *всё* (т.е. чистокровная порода), то из этого никак не следует, что *ничего* не сохранится, т.е. что всякое появляющееся уклонение исчезнет *без следа*¹⁴. Г. Страхов должен был признать, что аргументация Данилевского: «не всё — значит ничего» есть образец строгого, логического мышления, или откровенно сознаться, что опровержение Данилевского ничего не опровергает, а так как

¹³ В заключительных словах этой главы г. Страхов сам категорически заявляет, что именно в рассматриваемом вопросе заключается окончательное опровержение дарвинизма.

¹⁴ Напомню читателю соображение, которое также умышленно скрывает г. Страхов. Если б Дарвин утверждал, что в природе могут сохраняться *чистокровные* породы, то результат естественного отбора должен был бы обнаружиться в такие же краткие сроки (столетия, десятилетия), как и при отборе искусственном. Но и Дарвин, и дарвинисты допускают, что в естественном состоянии новые формы требуют несметных веков для своего образования — именно потому, что результаты естественного отбора тормозятся (но не уничтожаются) скрещиванием.

ни на то, ни на другое у него не доставало храбрости, то он и оказался вынужденным взводить напраслину на Дарвина, смело уверяя своих читателей, что Дарвин учил тому, чему он никогда не учил.

Вот как мстит за себя логика!

VII. Нечто об открытиях.

Как видно из самого названия, глава эта не имеет прямого отношения к сущности дела; вся она написана г. Страховым, так сказать, *pro domo sua*. В своей статье «*Полное опровержение*» и проч. г. Страхов, отзываясь с восторгом о неудачном возражении Данилевского, рассмотренном в предшествующей главе, назвал его «истинным открытием Н. Я. Данилевского». Я же показал, что это сомнительного достоинства открытие сделано за десять, за двадцать лет до Данилевского. Г. Страхову необходимо было как-нибудь выпутаться из сделанного промаха и для этого он прибегает к приёму, не лишённому оригинальности.

Напомню, что констатирование факта давности этого возражения значительно ослабляло его убедительную силу в глазах всякого читателя. Во-первых, читатель видел из этого, как искусственно раздуто значение книги Данилевского, а, во-вторых, мог сам сообразить, что если за эти двадцать лет не последовало окончательного крушения дарвинизма, то, очевидно, пресловутое «открытие» никакою разрушительною силой не обладает. Видя невозможность отстаивать свою прежнюю точку зрения об *истинности* открытия Данилевского, г. Страхов развивает совершенно новую теорию о праве писателя на чужую мысль.

«Кто *сам мыслит*, — докторально поучает он, — а не *составляет* своих мыслей из кусочков, взятых в разных книгах, тот (слушайте, слушайте!) часто вовсе не замечает, где ему в первый раз встретилось какое-нибудь положение» (?!!). Вот неожиданный-то оборот мысли и, в то же время, какое новое и удобное учение! До сих пор мы (т.е. педанты, фанатики учёные и пр.), в простоте душевной, думали, что не различать, где кончается чужая мысль и где начинается моя, можно или по невежеству (недостатку сведений), или по недобросовестности, или, наконец, вследствие размягчения мозга. Мы привыкли думать, что «тот, кто *сам мыслит*», тогда только представляет значение, когда высказывает *своё* слово, а не тогда, когда только забыл, где его прочёл. Мы привыкли думать, что открывать Америку по меньшей мере

смешно, что с досадой находить свои мысли у Шекспира как будто неловко, что, наконец, говорить об одном *Юрии Милославском* — Загоскина и о другом — своём может только Хлестаков. Наивные люди, — думает г. Страхов, — nous avons changé tout cela — и завершает главу следующей тирадой: «не в том дело, что Н. Я. Данилевский повторил чужое, а в том, что он *это чужое признал своим*»¹⁵. Г. Страхов, очевидно, полагает, что высказал блестящий парадокс. Я не восстаю вообще против высказывания парадоксов, — это очень забавное препровождение времени, — под условием, конечно, чтобы парадокс был замысловат, чтоб его не так-то легко было разгадать. Но сказать только что-нибудь, идущее в разрез с ходячим здравым смыслом и элементарною моралью — не значит ещё сказать остроумный парадокс. Ведь, любая тёмная личность, перемещая носовой платок из кармана г. Страхова в свой собственный, может ответить ему его словами: «Дело не в том, г. Страхов, ваш ли это платок, или мой, а в том, что *я его признал своим!*»

Да, логика... виноват, на этот раз, кажется, этика мстит за себя жестоко!

VIII. О сохранении всего в природе.

И эта глава опять не имеет никакого отношения к делу. Вся она посвящена глумлению над одною фразой моей статьи, брошенною мимоходом, как нечто всякому понятное. Но г. Страхов её не понял и на основании этого позволяет себе на четырёх страницах издеваться надо мной.

Посмотрим, в чём же заключается проявление моего будто бы грубого невежества, юмористически (по мнению г. Страхова) заявленное в самом заголовке и для издевательства над которым г. Страхов специально скликает своих читателей. «Извольте читать на странице 155!» — торжественно выкликает он и приводит это, по его мнению, позорящее меня место моей статьи. Вот оно: «Сохранение случайного уклонения в его чистой форме — это один предел явления; его бесследное исчезновение, полное растворение в нормальных формах — это другой и, заметим, *идеальный*, теоретический предел», — «то есть, — перебивая мою мысль, торопится, для вящего вразумления читателя, пояснить г. Страхов, — никогда не достигаемый, предполагаемый лишь мысленно, и в действительности не существующий», и

¹⁵ Не забудем, что речь идёт о том, имел ли право г. Страхов выдавать своим читателям довод Данилевского за «истинное открытие». Г. Страхов заявляет теперь, что он и сам когда-то знал, что открытие это сделано ранее. Тем более он виноват перед своими читателями.

полагая, что поймал меня на слове, довёл мою мысль до абсурда, продолжает цитату: «В действительности, — говорю я, — к органическим формам, как и к материи, как и к энергии, применимо изречение Лавуазье: «dans la nature rien ne se perd»¹⁶. Логически нелепо, чтобы какое-нибудь *воздействие* на организм исчезло без следа, — именно этою невозможностью бесследного исчезновения *воздействий* на организм и его потомство, суммированием этих *воздействий* мы и должны объяснить себе прогрессивное усложнение организмов». Окончив цитату, г. Страхов выходит из себя. «Признаюсь, — восклицает он, — редко можно найти более странную выходку, и, притом, сделанную без всякого повода, без всякой надобности. Какой это новый закон сохранения *чего-то* в организмах провозглашает г. Тимирязев?» и далее: «Ведь, дело идёт о *случайных отклонениях* и нет никакого сомнения, что скрещивание уничтожит их *без следа*», и, наконец, та же мысль повторяется в более философской форме: «Г. Тимирязев уверяет, что бесследное исчезновение — невозможность, *логически* нелепо. Ах, эта логика! Вот Дарвин — тот, кажется, о логике никогда не говорил и, право, лучше делал. Ведь, если что-нибудь может, по-вашему, *приближаться к исчезанию*, то отчего же оно не может и исчезнуть?»

Во-первых, я замечу, что г. Страхов напрасно трудился ловить меня на слове, боясь, чтоб я не отвильнул. Я сказал именно то, что хотел сказать; готов повторить, и буду повторять то, что сказал; а если г. Страхову эта мысль непонятна, то я могу себе это объяснить разве только тем, что, на основании защищаемого им в предшествовавшей главе права того, «кто сам мыслит», на короткую память, он забыл кое-что из элементарной арифметики. В возмущивших его словах я высказываю только такую, всякому понятную арифметическую истину. Если после первого скрещивания в потомстве известной формы окажется $\frac{1}{2}$ её крови, после второго $\frac{1}{4}$, то после n скрещиваний её будет $\frac{1}{n}$. Эта дробь $\frac{1}{n}$ может быть очень мала, неизмеримо мала, но всё же не будет равна нулю, потому что n не будет равно бесконечности (я даже доказываю, что оно никогда не будет очень велико). Эта дробь и есть та хитрая, непонятная г. Страхову величина, которая «*приближается к исчезанию*», да не исчезает. Пусть г. Страхов задаст себе вопрос, на какую *конечную* величину (а натуралист имеет дело только с ними) нужно разделить 1, чтобы получился 0? В каком количестве воды нужно

¹⁶ Г. Страхов утверждал, что я неверно цитирую мысль Лавуазье, придаю ей слишком широкую форму. У Дюма, лучшего знатока творений Лавуазье, она приводится в следующей, ещё более общей форме — rien ne se perd, rien ne se crée.

растворить пуд соли, чтоб он исчез *без следа*?¹⁷. А когда он разрешит эти не головоломные вопросы, то, конечно, поймёт, что нравственно обязан (конечно, мысленно, про себя) взять назад все те неприличные издевательства и грубые выходки¹⁸, которыми украсил всю эту главу, не имея на то иногда права, кроме своей собственной несообразительности.

Да, логика мстит за себя жестоко... и арифметика также.

IX. Скрещивание.

Наконец, хоть серьёзный, идущий к делу заголовок! — воскликнет читатель, наскучивший ненужною комическою интермедией предшествовавших двух глав и не забывший, в чём заключалось «истинное открытие» Данилевского. Напомню, что, по мнению Данилевского и г. Страхова, стоит произнести слово «скрещивание», чтобы доказать невозможность изменчивости существ, а, следовательно, и дарвинизма. А формулируется это доказательство так. Для дарвинизма необходимо, чтобы появившаяся *в числе одного неделимого* форма сохранилась во всей своей неприкосновенности, в виде *чистокровной породы*; а так как это требование в природе не осуществимо, то и весь дарвинизм построен на невозможности.

¹⁷ Г. Страхов спрашивает, что же сохраняется (когда мы говорим — кровь) — материя или энергия? Я полагаю, что такое любопытство по меньшей мере преждевременно, потому-то я и выразился неопределённо, высказывая только основную мысль, что, рассматривая жизнь, как одно непрерывное, преемственное явление, мы не вправе допустить, чтоб однажды вызванная в этом явлении пертурбация могла исчезнуть внезапно и без последствий.

В доказательство того, что уклонения исчезают *без следа*, г. Страхов озадачивает читателя тем же софизмом, несостоятельность которого я уже указал в своей статье по поводу примера сирени, именно, умышленно берёт численный признак. Бывают, — говорит г. Страхов, — шестипалые люди, а у их потомства эта уродливость исчезает без следа. Я пояснил, что такие примеры наименее удобны. Ясно, что трудно ожидать, чтобы появились люди с $5\frac{1}{2}$, с $5\frac{1}{4}$ и т.д. пальцев. В таких случаях признак обыкновенно разделяется между потомками: одни будут шести, другие — пятипалые. Впрочем, пример г. Страхова неудачен и в том отношении, что именно относительно шестипалости существуют указания, что она сохранялась до 5-го поколения, т.е. когда обладатель шестого пальца имел всего $\frac{1}{32}$ долю крови своего шестипалого предка. По всей вероятности, большая часть случаев атавизма объясняется так же. К тому же, было бы абсурдом ожидать, чтобы при суммировании действия таких сложных причин, каковы две, борющиеся в детях организации родителей, получалась всегда простая наглядная средняя. Нужно ещё знать эквивалентность признаков, а как её определить?

¹⁸ Вот на выдержку несколько образцов: «Тут перед нами образчик тех, переходящих всякую меру, несообразностей... или: «В статье гораздо менее известного Тимирязева можно было бы подобрать и ещё не мало таких головоломных скачков...», «Всегдашняя ошибка дарвинистов... соблазняет даже учёных более серьёзных, чем Геккель и г. Тимирязев». Замечу к слову, что г. Страхов совсем неуместно позволяет себе такой высокомерный тон по отношению к Геккелю. Гартман, философ, выражаясь слогом г. Страхова, гораздо более известный, чем г. Страхов, и противник дарвинизма, с величайшим уважением отзывается об общих трактатах Геккеля о дарвинизме и говорит, что всякий образованный человек должен их читать и изучать. Вот как на Западе философы относятся к учёным.

На это я возражаю: дарвинизм ни того (т.е. происхождения от одного неделимого), ни другого (т.е. сохранения чистокровной породы) навязываемого ему предложения никогда не делал и потому не только возможен, но и соответствует действительности. Для того, чтоб успешнее сбить с толку неопытного читателя, и Данилевский, и г. Страхов, прежде всего, стараются уверить его, что мой дарвинизм не настоящий. Данилевский уверял, что я отстал от Дарвина (который будто бы покаялся в каких-то грехах, в которых я продолжаю коснеть¹⁹), г. Страхов теперь утверждает, что я зарвался, зашёл далее Дарвина. Таким образом, я одновременно (и по тому же самому вопросу) и старо- и младо-дарвинист. Напомню, что, в то же время, по категорическому заявлению обоих писателей, я самый чистый дарвинист, самый точный выразитель мыслей Дарвина. Так как трёх взаимно исключающих истин не бывает, то, очевидно, мы имеем здесь дело с очень прозрачным диалектическим приёмом, рассчитанным на то, чтобы морочить бедного читателя.

Но г. Страхову и этого мороченья показалось недостаточно. На нескольких страницах старается он в комической, по его мнению, форме изобразить, с моих будто бы слов, то удручённое состояние, в котором я находился при чтении книги Данилевского, пока, наконец, на её 126 странице не нашёл лазейки, при помощи которой увидал возможность улизнуть от его сокрушающей диалектики. Те, кто читал мою статью, знают, что этого нет на деле. Я говорю, что *читатель* умышленно выдерживается Данилевским в удручённом состоянии, под впечатлением, будто его пешка о сирени действительно уничтожает дарвинизм, пока на стр. 126 не усматривает, что она не только такого грозного, но и вообще значения не имеет. Что я не мог очутиться в положении *этого читателя*, я прямо заявляю, и для г. Страхова это ясно до очевидности, — он это доказывает всю свою главой «Нечто об открытиях». Ведь, я показал, и г. Страхов должен был сознаться, что эти аргументы Данилевского уже были высказаны гораздо ранее; следовательно, они могли озадачить неопытного читателя, могли показаться «истинным открытием» г. Страхову, но не мне, знакомому с литературой своего предмета. Г. Страхов всё это очень хорошо знает, но какое ему до этого дело? Конечно, иной читатель и не поверит ему, чтобы я, уже писавший о дарвинизме, когда Данилевский, по его собственному заявлению, ещё не читал книги Дарвина, стал учиться дарвинизму по пресловутой книжке Данилевского. Но, может быть, найдётся и такой простак, который и поверит, — г. Страхов не брезгует

¹⁹ Это обвинение, как я показал, происходит оттого, что Данилевский извращает текст Дарвина, приводя конец фразы без её начала.

даже самым скромным элементом успеха. Если я указываю на страницу 126, то для того только, чтобы подкрепить самое тяжкое из обвинений, которое я возвожу на Данилевского. Я говорю, что приём, употребляемый им в этой самой существенной части его книги, — приём адвоката, неразборчивого на средства убеждения, — недостоин беспристрастного исследователя. Не будь этой 126 страницы, можно было бы подумать, что Данилевский сам ослеплён и верит во всемогущество своей аргументации; но здесь он обнаруживает её слабость и спешит отвлечь внимание читателя обещанием поправить дело в одной из позднейших глав, — обещанием, которого, конечно, также не выполняет²⁰. Сознывая сам, что его доводу цена грош, Данилевский, тем не менее, на ста с лишком страницах выдаёт его читателям за целковый, распространяясь о том, какой он звонкий, да блестящий. Эта роковая страница обличает, что он ведал, что творил, и вполне оправдывает мой суровый приговор.

Не стану утомлять читателя разоблачением всех изворотов, к каким прибегает г. Страхов для того, чтобы спасти безнадёжную аргументацию Данилевского, тем более, что вскоре снова придётся вернуться к этому вопросу²¹. Укажу, по этому поводу, на характеристическую особенность изложения г. Страхова. В одном месте своей статьи он обвиняет меня в том, что мысль у меня «движется капризными извилинами». Конечно, всякому чужой грех виднее, так и мне представляется, что бесконечная канитель его мысли тянется постоянно возвращающимися на себя петлями и узлами, вследствие чего десятки раз приходится возвращаться к точке отправления и, к явной досаде читателя, повторяться.

Так и здесь: я снова вынужден повторить, что уже сказал выше. Несостоятельность воззрения Данилевского ясна для всякого, кто не хочет закрывать глаза, затыкать уши. Он говорит, что в природе не может составиться чистокровной породы, — значит, не может сохраниться и какой бы то ни было степени крови. Всё та же аргументация: NN не богат — значит, он нищий. Не всё — значит ничего. Г. Страхову, в качестве философа, было бы неловко защищать такие заключения в общей логической форме, но он не отказывается от их применения к фактам реальной действительности и, как

²⁰ И этот неприятный для него эпизод г. Страхов также благоразумно предаёт забвению.

²¹ Не могу не указать на один из типических образчиков этой изворотливости г. Страхова. В этой главе, на странице 107, приводится такая фраза: «Отношение, — говорит г. Тимирязев, — осталось то же; эти десять тысяч также тонут в миллиарде, как прежняя единица», — и тотчас делается из неё выгодное для г. Страхова заключение. Но г. Страхов скрыл от читателей, что перед фразой «отношение и т.д.» у меня стоят слова: «Но, конечно, возразят», а тотчас после фразы идёт её опровержение. Таким образом, *возражение, которое я делаю себе от имени предполагаемых противников и тотчас же опровергаю*, г. Страхов выдаёт за моё собственное мнение, и пользуется этим в своих целях. И это называется научная полемика!

всегда, заканчивает главу голословным, но невозмутимо смелым заявлением, что «изменение *должно исчезнуть* не только от повторённого, а даже большею частью *от первого скрещивания*»²². Нет г. Страхову не удаётся уверить кого-нибудь, что, как общее правило, дети *должны* не походить на родителей. Впрочем, к этому вопросу, как я только что сказал, я скоро вернусь по поводу крайне неприятного г. Страхову носа Бурбонов.

Да, логика мстит за себя жестоко: тех, кто раз решился против неё восстать, она вынуждает храбро отрицать даже ежедневный опыт.

Х. Ограничивание скрещивания.

«Но нам ещё нельзя прекратить анализ мыслей г. Тимирязева», — так начинает г. Страхов эту главу. В переводе на обыкновенный язык это значит, что г. Страхову ещё недостаточно удалось запутать читателя в совершенно ясном по себе вопросе. И вот начинаются новые старания найти у меня противоречие там, где его нет и следа.

Я доказываю, что скрещивание не так всесильно, как утверждает Данилевский; я отрицаю, например, что изменения *должны* исчезать «от первого скрещивания». Г. Страхов подхватывает: значит, по мнению Тимирязева, скрещивание не есть препятствие; значит, оно «в высшей степени полезно»; значит, Тимирязев впадает в противоречие, указывая на то, что в природе скрещивание бывает ограничено различными условиями и что это ограничение способствует отбору.

Но всякому понятно, что никакого противоречия в моих положениях не существует. Понятно это и г. Страхову. Он очень хорошо знает, как я смотрю на отношение между отбором и скрещиванием; он даже сам приводит это место и досадует, что оно изложено «так пространно, такою бойкою, плавною речью». Вот оно: «Скрещивание и отбор, — говорю я, — это — два начала, находящиеся в антагонизме и действующие одновременно и неизменно. Образование новых, форм идёт по равнодействующей этих двух противоположных влияний, всё равно, как полёт ядра зависит от движения, сообщённого ему при выстреле, и от притяжения земли; ни в том, ни в другом случае мы не можем допустить, чтобы явления находились когда-либо под влиянием только одной из обуславливающих причин». Имея перед собой эти

²² Только что мы видели пример передачи шестого пальца потомству, имеющему всего 1/32 долю крови шестипалого прародителя.

строки, г. Страхов не может не понять, что в моей статье нет и тени противоречия. Отрицая, что скрещивание *уничтожает* результаты отбора, я не отрицаю, что оно их *ограничивает, замедляет*. Скрещивание и отбор — это два борющихся начала. По мнению Данилевского, первое бесконечно велико, а второе сводится к нулю. Я же говорю, что противодействие, оказываемое скрещиванием, всегда величина конечная, а, следовательно, и для действия отбора всегда остаётся простор, понятно, тем более широкий, чем менее противодействующая сила. Продолжая высказанную выше параллель, по Данилевскому и г. Страхову выходит, что если существует земное притяжение, то, *значит*, ядро никогда не может вылететь из пушки. А я говорю, вылетит вопреки притяжению, но полёт его будет зависеть от этого притяжения. Дело так просто, что нет и места для недоразумения. Так же само собою очевидно, что скрещивание, разжижая какой-нибудь признак, в то же время, распределяет его на большее число существ, — это неизбежный результат всякого разжижения: что теряется в интенсивности, то выигрывается в экстенсивности. В итоге, как я уже объяснял не раз, скрещивание есть обстоятельство, определяющее, почему естественный отбор требует для проявления своих результатов длинного ряда веков, а искусственный (где скрещивание более ограничено) — только десятков лет. Отсюда же понятно, что чем более ограничено скрещивание в природе, тем быстрее действие отбора. Отрицая, что скрещивание *всесильно*, я не имею ни малейшего желания впадать в противоположный абсурд и утверждать что оно *бессильно*. Г. Страхов так проникся убедительностью излюбленного довода: «не всё — значит ничего», что не может скрыть досады, почему и я не рассуждаю таким же образом. Но от меня он этого не дожждётся.

Я не ограничился в своей критике доказательством несостоятельности рассуждений Данилевского, я привожу факты, самым очевидным образом доказывающие, что известные черты организации не исчезают не только вследствие «первого», но даже и «повторённого» скрещивания. Приводимый мною пример тем более убедителен, что всякому понятен, и потому именно особенно досаден для г. Страхова, всегда рассчитывающего только на помрачение своего читателя. Я указываю на исторический нос Бурбонов, который, несмотря на обязательное отсутствие кровосмесительных браков, сохранился до восьмого поколения. В герцоге Немурском ещё можно узнать потомка Генриха IV²³. А, между тем, в его жилах течёт только 1/128 доля крови родоначальника. Факт становится ещё поразительнее, если сравнить представителей старшей и младшей линии, разделённых целыми

²³ По свидетельству Гейне, сходство это было заметно ещё в детстве герцога.

пятнадцатью степенями родства. По мнению г. Страхова, признак должен исчезать «большею частью» от первого скрещивания, а вот пример, законом предписанных и историей засвидетельствованных, скрещиваний в семи поколениях, не помешавших сохранению таких ничтожных признаков, как горбатый нос и вообще черты лица²⁴. Факт налицо; аргумент тем и досадлив, что всякому до очевидности ясен; тут не помогут никакие увёртки, никакое крючкотворство, никакое обрубание начала и конца чужой фразы или выставление противника в вымышленном комическом виде. У всякого и руки опустились бы, но не у г. Страхова. Его изобретательность неистощима. Для омрачения читателя все средства хороши; и вот к каким прибегает он на этот раз: «На это возражение (т.е. указание на образование племенных отличий и сохранение, вопреки скрещиванию, носа Бурбонов, подбородка Габсбургов), — говорит г. Страхов, — уже *совершенно основательно* отвечал г. Эльпе». Следует ссылка на соответствующие фельетоны «*Нового Времени*». Наивный читатель спросит: почему г. Страхов, вообще тароватый на выписки, не привёл во всеобщее назидание этого «совершенно основательного» возражения? Для чего понадобилась глухая ссылка на такой малодоступный источник, как фельетон старой газеты? Но в этом и вся новизна полемического приёма г. Страхова. Дело в том, что в указанном месте по главному сюда относящемуся вопросу, т.е. по вопросу о возможности сохранения признаков, *вопреки скрещиванию*, никакого возражения не оказывается. Вот что там стоит: «Нельзя же считать серьёзным курьёзные ссылки на нос Бурбонов или подбородок Габсбургов». Вот и всё, и это г. Страхов называет возражать «совершенно основательно»!

Таков новый эристический приём, изобретённый г. Страховым, заключающийся в том, чтобы предъявлять аргумент не наличностью, а, так сказать, в кредит.

Для того, чтобы ещё более убедить читателя в действительности возражения, на которое он ссылается, г. Страхов продолжает, что к этому «совершенно основательному» возражению он прибавит «только общее замечание» (странный *прибавка* к чему-нибудь не существующему). Он говорит, что сохранение характеристического носа в семье Бурбонов зависит от «таинственного» «морфологического процесса», играющего вообще большую роль во всех объяснениях Данилевского. Что нос — признак

²⁴ Понятно, что в природе случаи такого абсолютного устранения браков в близких степенях родства едва ли существуют. Если же и при таких, наиболее благоприятных для него условиях, скрещивание не «всесильно», то понятно, какие результаты должны получаться в естественном состоянии, когда существа распределяются в пространстве так, что браки между близкими степенями крови должны представлять правило, а не исключение (см. *Опровергнут ли дарвинизм? Лекции и речи*, стр. 159)

морфологический, а не психический, — совершенно верно; так же верно, как и то, что эпитет «таинственный» ничего не объясняет. Но главное дело в том, что я и не поднимал вопроса о каком-нибудь *объяснении* наследственности не только «таинственном», но и действительном. Дело не в объяснении, а просто в самом историческом факте сохранения известной формы носа при таких условиях, когда, по Данилевскому и г. Страхову, этого не могло быть. Предыдущую главу г. Страхов заключил храбрым уверением, что, по большей части, «одного скрещивания» достаточно для того, чтобы уничтожить известный признак, а ему приводят всем известный пример сохранения ничтожного признака, несмотря на семь последовательных скрещиваний, т.е. при наличии всего $1/128$ первоначальной крови. Вместо того, чтобы признать обязательную силу этого факта, или, по крайней мере, молчать, если не можешь возражать, г. Страхов начинает метаться во все стороны, прячется за несуществующий аргумент, схоронившийся будто бы где-то в чужом фельетоне, а для отвлечения внимания читателя пускается в туманные рассуждения о «таинственной» причине факта, очень хорошо понимая, что не в причине дело, а в том, что самый факт, независимо от его объяснения, разрушает в основе те голословные уверения о всемогуществе скрещивания, на которых оба они (т.е. Данилевский и г. Страхов) строят все свои надежды опровергнуть дарвинизм. Но и этого г. Страхову показалось ещё мало. Для того, чтобы окончательно затемнить в глазах читателя истинный смысл довода, против которого он решительно ничего не может возразить, он старается придать всему вопросу диаметрально противоположный смысл. Он пытается окончательно сбить с толку читателя, отвечая мне, как будто я утверждал, что нос Бурбонов произошёл «в силу отбора» (!) и посредством *устранения* (!! *скрещивания*)²⁵, и, отвергнув без труда эту нелепость, прямо противоположную тому, что я говорю, самодовольно выкрикивает: «*что и доказать надлежало*» и т.д.

Этот приём не нов; вот как характеризует его Шопенгауэр²⁶.

«Уловка 13. Бесстыдный фокус проделывается, когда после нескольких вопросов, на которые противник ответил так, что ответом этим нельзя воспользоваться для вывода заключения, которое мы намеревались сделать, *выставляют заключительное положение как доказанное и выкрикивают* *ею с триумфом*. Если противник застенчив или туп, а сам обладаешь

²⁵ Повторяю, что я говорю диаметрально противное — я привожу нос Бурбонов как доказательство возможности сохранения признака, *вопреки присутствию* скрещивания, а г. Страхов отвечает мне, как будто я говорил, что нос сохранялся посредством *устранения* скрещивания.

²⁶ *Эристика или искусство спорить*. Перевод кн. Д. Цертелева, стр. 27.

значительным бесстыдством и хорошим голосом, это весьма может удасться». Г. Страхов только усовершенствовал эту *уловку 13*; не будучи в состоянии отразить довод противника, он опровергает *прямо противоположное положение* (т.е., в сущности, побивает себя самого) и выкрикивает при этом: *что и доказать надлежало!*

Показав, таким образом, на примере Бурбонов, что на первых порах скрещивание вовсе не так всесильно, как утверждает Данилевский, я указываю далее, что в природе несомненно существуют причины, его ограничивающие (действовавшие, например, при образовании человеческих племён²⁷. Наконец, я останавливаюсь на несомненных фактах, доказывающих, что разновидности могут уживаться рядом не смешиваясь и, следовательно, не уничтожаясь. При этом я указываю на свидетельство Дарвина, что он неоднократно наблюдал это явление, и ссылаюсь на факты Негели, доказывающего это положение на многочисленных разновидностях *Hieracium*. Желая подорвать в глазах своих читателей достоверность моей ссылки на *факты* Негели, г. Страхов ядовито замечает: «Итак, г. Тимирязев, полагая, что в настоящем случае Негели сходится с Дарвином, нашёл факты в его пользу. Как странно! Сам Негели *говорит* об этом следующее»... Далее приводится ряд выписок из книги Негели, из которых читателю понятно только то, что Негели в чём-то не согласен с Дарвином, но в чём именно и на каком основании, из этих глухих, отрывочных выписок, конечно, ничего понять невозможно. На эту выходку г. Страхова я отвечу то же, что отвечал и ранее. До того, что *говорит* или думает Негели, мне нет никакого дела; я ценю только приводимые им *факты*, а г. Страхов, конечно, не осмелится утверждать, что я *неверно* цитирую или объясняю эти *факты*²⁸. Данилевский и г. Страхов уверяют, что скрещивание всесильно и ведёт к сглаживанию всяких различий; Дарвин говорит, что наблюдал в природе совместное присутствие разновидностей, а Негели возводит это в общее правило и подтверждает своими многолетними наблюдениями над совместным разведением многочисленных разновидностей *Hieracium*. Вот *факты*; а до мнений Негели, повторяю, мне так же мало дела, как и до его (столь приятного г. Страхову) голословно-самоуверенного отзыва, что дарвинизм основательно

²⁷ Как на главную причину (помимо отбора), *ограничивающую* скрещивание, я подробно указываю на то, что возникновение всякой новой формы будет всегда *местное*; так что не может быть и речи, наприим., о скрещивании между всеми представителями вида (*Лекции и речи*, стр. 158—159 и 162).

²⁸ Не касаясь здесь *мнений* Негели, так как это к делу не относится, замечу, что если Негели в этом случае только *полагает*, что не согласен с Дарвином, то он прямо фактически противоречит Данилевскому и г. Страхову, так как именно доказывает, что в природе *скрещивание не играет той роли, которую ему приписывает Данилевский*. Если б г. Страхов вдумался в приведённую им цитату, то, конечно, припрятал бы её подальше, а не предъявлял бы в качестве аргумента.

исследовал только «конюшню» и «голубятню», а не «свободную природу»²⁹. Театр деятельности обоих учёных мне короче знаком, чем г. Страхову. Был я и в Дауне, у Дарвина, бывал и в мюнхенском ботаническом саду, и могу уверить г. Страхова, что сады, поля и рощи, среди которых протекла вся жизнь Дарвина, более походят на «свободную природу», чем несколько десятков пыльных грядок в самом центре германских Афин. А если Негели экскурсировал в баварских или даже швейцарских Альпах, то г. Страхову не безызвестно, что Дарвин провёл пять лет в кругосветном плавании, да ещё, с малых лет, и до, и после путешествия, исходил вдоль и поперёк не один уголок Англии.

Также, я полагаю, мало кого убедит и ссылка, которою г. Страхов победоносно заканчивает свою первую статью, — ссылка на Агасиза, отзывавшегося о дарвинизме, что это — «целое болото голословных утверждений». Стара истина, что *брань — только признак бессильной злобы*. А что Агасиз сам с грустью сознавал своё бессилие перед победоносным, но не симпатичным ему дарвинизмом, об этом мы знаем из мастерской картинки в одной из лекций Тиндаля, описавшего своё свидание с этим неутомимым наблюдателем, но неглубоким мыслителем, упорно закрывавшим глаза перед очевидностью.

Таково содержание этой главы. Те уловки г. Страхова, с которыми нам пришлось в ней познакомиться, красноречиво доказывают, как *жестоко мстит за себя логика*.

На этом месте г. Страхов дал своим читателям месячный отдых. Переведём дух и мы.

XI. Всегдашняя ошибка.

Нисколько не подвинувшись в своей задаче на пятидесяти страницах своей первой статьи, г. Страхов, приступая ко второй, очевидно, спохватился, что его терпеливый читатель, переведя дух, успел одуматься и сообразить, что ему так и осталось неизвестным, где же, в этом тёмном лабиринте диалектических ухищрений и не относящихся к делу отступлений, кроется «всегдашняя ошибка» дарвинистов? Сознав этот коренной недостаток своего расплывчатого многословия, г. Страхов с первой же главы спешит его

²⁹ Гукер и Аза Грей, — о которых справедливо говорят, что каждый из них видал более живых растений в их естественной обстановке, чем кто-либо на земле, — совершенно иного мнения о дарвинизме.

исправить и повторяет своё обещание показать, в чём заключается главный «вывих мысли» дарвинистов. В этой главе, как указывает самое название, очевидно, лежит ядро всей аргументации; остановимся же на ней поподробнее.

Очевидно, подозревая, что «болото» Агасиза мало кого убедило, г. Страхов преподносит своему читателю целый набор, правда, менее бранчивых, но столь же *бездоказательных, голословных отзывов* Негели. Г. Страхов упорно не хочет знать, что *мнение* одного человека не доказательство, особенно, когда сквозящий на каждом шагу мотив этого человека может быть выражается известною фразой: *Ote toi de là que je m'y mette*.

К чему же сводятся эти голословные обвинения Негели? Он говорит, что теория подбора получила «слишком неопределённое выражение», что она не выяснила «процесса (отбора) в его частностях», что «он (т.е. Дарвин) повторяет только известные общие положения, которые, по моему мнению (т.е. мнению Негели), как скоро мы вздумаем дать им *конкретную* и определённую форму, приводят к невозможностям».

И это говорится о дарвинизме, в котором каждая посылка, каждый довод — наблюдённый факт. И решается говорить это человек, все теории которого отличаются именно полною оторванностью от конкретной почвы; человек, необузданно смелый в своих заоблачных построениях, рушащихся при первом столкновении с наблюдаемою действительностью — человек, например, подробно изобразивший молекулярное строение клеточной стенки, но недосмотревший, что одного поворота микрометрического винта его микроскопа достаточно, чтоб опровергнуть всю хитросплетённую теорию; человек, скроивший свою внеопытную теорию идиоплазмы из лоскутов единственной умозрительной гипотезы Дарвина (его пангенезиса); человек, придумавший свои *мицелли*, потому что молекулы химиков казались ему слишком малы, а теперь, наоборот, утверждающий, что молекулы химиков слишком велики, т.е. смело отрицающий такой *конкретный* факт, каков химический анализ, для того только, чтобы спасти незримое бытие своих мицеллей и каких-то ещё там балок своей фантастической, трансцендентальной идиоплазмы³⁰.

³⁰ Припомню судьбу и других теорий Негели, ещё недавно гремевших; например, его теорию заражения бактериями исключительно через дыхательные пути, — теорию, приведшую его к блестящим и многим соблазненным выводам, что зловонный воздух здоровее незловонного и что сырая квартира здоровее, сухой. И самый приём Негели везде тот же схоластически-диалектический — *entweder, oder; tertia non datur; ergo...* Как будто живую природу так легко защемить между этими *entweder, oder!*

Нет, г. Страхов, поищите авторитета поудачнее, а когда вы нам его предъявите, мы и тогда вам ответим, как и ранее: *magister dixit* уже отжило свой век; в науке авторитетны только факты, да логические доводы.

Если бездоказательные *слова*, прикрытые сомнительным авторитетом Негели, не достигают цели, то что же сказать о подобном наборе слов, которые г. Страхов заимствует у Данилевского?

Тем не менее, на основании этих слов, г. Страхов полагает возможным формулировать главное осуждение против дарвинизма в следующих выражениях: «Итак, беда и прелесть теории заключается в *общих принципах* и *общих* из них *выводах*, в *неопределённости* формул и приёмов. Беда именно в том, что дарвинисты довольствуются общими положениями, не заботясь о проведении их по всем частностям, и употребляют неопределённые приёмы, не замечая их неопределённости и не стараясь устранить её». Но где же хоть тень доказательства этого голословного обвинения? Где же примеры несостоятельности дарвинизма в применении к частностям? Почему же именно такие учёные, как Гукер, как Декандоль, как Аза-Грей, деятельность которых уже никак не отличалась «неопределённостью» или недостатком «частностей», особенно горячо приветствовали дарвинизм, а последний из них метко назвал его «рабочею гипотезой», т.е. именно таким учением, которое является могучим орудием при исследовании «частностей», — орудием, которым действительно, вот уже четверть века, пользуются именно натуралисты,двигающие науку вперёд? И, наоборот, где те «частности», о которые разбился дарвинизм? Вот г. Страхов на восьмидесяти, а г. Данилевский на сотнях страниц пытались уловить противоречие дарвинизма с одною только частностью, с одним фактом — фактом существования скрещивания, но весь их труд пропал втуне.

Подобно Данилевскому, видя бесплодность своих попыток доказать несостоятельность дарвинизма по существу, г. Страхов пытается уверить своего читателя, что это учение не может и не быть слабым, потому что... потому что оно произведение англичанина. А англичане, известно (г. Страхов это считает, кажется, аксиомой), неспособны к здравому мышлению. Г. Страхов, по-видимому, считает это настолько очевидным, что на полустраничке развивает какую-то тёмную теорию, на основании которой выходит, что англичане, как эмпирики, питают отвращение к отвлечённому мышлению и, в то же время, какою-то роковою силой толкаются в эту, антипатичную им, область, вследствие чего и городят невозможные теории. Таким образом, на долю английского ума сердитый г. Страхов выбрасывает

только два, правда, трудно совместимые, но зато одинаково нелестные недостатка: грубый, не рассуждающий эмпиризм и бестолковую, беспочвенную отвлечённость. Насколько такое, очевидно, вызванное капризом, представление соответствует действительности, т.е. тому представлению об особенностях английского ума, которое должен был себе составить всякий, знакомый с историей и современным состоянием положительных наук, не стану распространяться, — это отвлекло бы слишком далеко от сущности спора, — и перейду к непосредственному обвинению Дарвина, как и всегда, на основании одной выхваченной у него фразы. Вот она: «Всякий, чей умственный склад заставляет приписывать большее значение необъяснимым трудностям, чем объяснению известного числа фактов, конечно, отвергнет мою теорию». По поводу этой фразы г. Страхов, и вместе с Данилевским, и за свой счёт глумится над Дарвином. «С детским простодушием Дарвин тут говорит так, как будто точного мерила истины никакого нет, как будто всё зависит от умственного склада (*disposition*)». И далее: «*Необъяснённые трудности*, — говорит Дарвин. Под таким неопределённым выражением может только скрываться настоящее положение вопроса. Если это факты, которые только не исследованы, не разобраны в отношении к теории, то никто не имеет права ставить их ей в упрёк; но если это факты, противоречащие теории, несогласные с её несомненными требованиями, то всякий на основании их должен её отвергать. А у Дарвина выходит как будто, что мы должны принимать или отвергать теорию, смотря по отношению между числом объяснённых и числом необъяснённых фактов!» Стоит ли пояснять, что ни того, ни другого из выдуманных г. Страховым абсурдов у Дарвина вовсе не «выходит»? Не выходит ни того, что истина зависит от умственного склада, ни того, что истина — только арифметическая разность, выведенная из противоречивых фактов. И если кто-нибудь проявляет «детское простодушие», то уж, конечно, не Дарвин, а г. Страхов, вообразивший, что его читатели забыли русскую грамоту и не понимают, что *необъяснённые* значит те, которые не объяснены, а *необъяснимые* — те, которые не могут быть объяснены. В словах Дарвина заключается только совершенно верное психологическое наблюдение, что умственный склад учёных бывает двух родов: одни придают более веса совокупному свидетельству целых категорий фактов и не отвергают теории, допускающей широкое обобщение, при первой встрече с ничтожным и *ещё необъяснённым* фактом; другие, наоборот, готовы остановиться перед каждою песчинкой, перед каждою соломенкой на пути самой плодотворной теории, не делая даже попытки устранить препятствие, разъяснить кажущееся противоречие. Замечу ещё, что эти последние нередко любят величать себя

скептиками, когда, на деле, только произвольно придают несообразное значение ничтожному факту и так же произвольно умаляют значение крупных фактов, из скрытого желания затормозить движение несимпатичного им учения. Г. Страхов, конечно, не преминет обвинить меня в том, что я проповедую презрение к фактам во имя теорий. Ни мало: я только говорю, что здравый, широкий ум должен прежде напрячь все усилия, чтобы устранить *необъяснённое*, кажущееся противоречие и, только когда все усилия примирения окажутся бесплодными, признать вопрос открытым, потому что если научная истина не лежит необходимо на стороне большинства фактов, то уж, конечно, и не на стороне меньшинства³¹. Прекрасною иллюстрацией мысли, высказанной в этой фразе Дарвина, может служить следующее место из «*Leçons sur la Philosophie chimique*» Дюма. Речь идёт о первом, классическом исследовании Лавуазье, по вопросу «превращается ли вода в землю?» Задача Лавуазье — доказать, что твёрдый осадок, остающийся при перегонке чистой воды, происходит не вследствие превращения воды в землю, а вследствие растворения стенок сосуда. Но вода оставляет по себе 20 гран твёрдых веществ, а сосуд потерял всего 17. Предоставляем далее говорить самому Дюма, с его обычным увлекательным красноречием. «Очевидно, что часть воды превратилась в землю. Но Лавуазье не останавливается перед этим фактом (*пasse outre*), для него эта прибыль в 3 грана ничего не доказывает; это только случайная подробность опыта; и в этом смелом суждении он выступает перед нами таким, каким мы увидим его и впредь, всегда схватывающим, благодаря какому-то чудному инстинкту, главную сущность дела, никогда не задерживаясь над случайными подробностями, в которых мелкий ум (*un esprit médiocre*) не преминул бы заблудиться». Гений «*пasse outre*» там, где «*un esprit médiocre ne manque pas de s'égarer*», — вот что означает та скромная фраза Дарвина, над которой г. Страхов позволяет себе так неудачно глумиться. Гениальные умы только знают относительную цену фактам, умеют различать крупное от мелкого³². Но это не значит, чтобы гений, наравне с простым смертным, не находил нужным на досуге доискаться или поручить другим доискаться до происхождения тех

³¹ Я полагаю, каждый учёный, даже из своей сферы деятельности, может привести примеры устранения кажущихся фактических препятствий на пути той или другой теории. Я могу привести такой пример из своей личной опытности. Когда, в 1869 году, я высказал мысль, что известная функция растительной жизни зависит не от солнечного света (т.е. не пропорциональна его действию на зрительный нерв), а от его теплоты (т.е. энергии), против этой теории были решительно все сюда относящиеся факты физики и физиологии; но прошло пятнадцать лет, и факты оказались неверными *толкованиями*, а теория оказалась *фактом* (См. мои *Публичные лекции и речи*, стр. 279).

³² Этою способностью отличались и все гениальные классификаторы; этому, так называемому, «такту» мы обязаны, наприм., нашими естественными системами.

трёх гранов, которые, по счастью, не остановили Лавуазье на первых шагах его реформаторской деятельности.

Но г. Страхов не унимается и, всё на основании этой совершенно произвольно и неверно перетолкованной мысли Дарвина, спешит обобщить своё обвинение и говорит: «И *всегда* (!) у Дарвина встречаются подобные уклончивые выражения или же оговорки, отнимающие у речи строго определённый смысл». «Для доказательства» этого огульного обвинения г. Страхов смело приводит то самое место из книги Данилевского, на которое указывал и я, как образец возмутительного обращения с текстом Дарвина, т.е. ссылки на фразу, начало которой умышленно урезано. Поясню, в чём дело. Данилевский уверял, будто Дарвин, в последующих изданиях своей книги, вынужден был коренным образом изменить свои воззрения; именно будто бы вначале он утверждал, что изменённые формы возникают всегда от одного неделимого, и только позднее допустил, что изменение охватывает, с первого раза, более или менее значительное число неделимых. Для подтверждения этого неосновательного обвинения, Данилевский привёл фразу Дарвина, у которой было обрублено начало, а из этого начала читателю было бы ясно, что, в так развязно приводимой цитате Дарвин говорит *диаметрально* *противное* тому, что ему приписывает Данилевский. Именно, Дарвин говорит в этом месте, что *всегда, с самого первого своего примера борьбы* (примера быстроногих волков) указывал на изменения, *охватывающие многочисленных представителей вида*, хотя рядом с этим считал возможным происхождение новых разновидностей и от случайных единичных уклонений, о которых *иногда говорил*, как будто эти случаи встречаются часто, а в других местах оговаривался, что они будут редки. Только прочтя статью в «Северном британском обозрении», — продолжал Дарвин, — убедился он, как редок будет этот второй случай. Таким образом, Данилевский утверждал, будто Дарвин только в шестом издании заговорил о возможности одновременного изменения, в известном направлении, не одного, а многочисленных неделимых, и при этом приводил обрывок фразы, при восстановлении которой во всей её целостности оказывается, что в ней Дарвин доказывает именно обратное. Бездоказательность нападки Данилевского, основанная на искажении текста Дарвина, ясна до очевидности. Г. Страхов ничего не может сказать в оправдание Данилевского; но сознаться в том или хоть промолчать — не в его нравах. Если не могу ответить на спорный вопрос, то поговорю о другом, рядом стоящем, — рассуждает он. Если нельзя возражать против печатного текста, нельзя утверждать вместе с Данилевским, что Дарвин изменил свои воззрения в указанном направлении, то стоит поговорить о том,

что он изменил их в другом направлении (благо он сам на то указывает), и дело в шляпе: читатель останется под смутным впечатлением, что Данилевский прав, а Дарвин и его защитник Тимирязев виноваты. У Данилевского, как мы видим, речь идёт о том, допускал или не допускал Дарвин вначале одновременность изменения нескольких или многих неделимых, а г. Страхов заводит речь о возможности происхождения изменений от единичных уклонений и доказывает, что Дарвин совершенно изменил свои воззрения на эту сторону вопроса; достигает же этого г. Страхов следующим крайне элементарным приёмом. Дарвин, как мы видели, говорит, что и ранее указывал, но позднее ещё более убедился, как редко будут встречаться эти случаи. Г. Страхов, повторяя уже от себя эту фразу, подставляет вместо «редко» — «*чрезвычайно редко*», и, не удовольствовавшись этим, в скобках ещё поясняет: «т.е., просто говоря, *никогда*». Таким образом, стоит вместо «редко» подставить «чрезвычайно редко», вместо чрезвычайно редко — «никогда» и *совершенное* противоречие Дарвина с самим собою доказано, а кстати можно пристегнуть и такой, уже ни с чем несообразный, вывод: «Дарвин отступает от одного начала и признаёт другое, *совершенно противоположное и уничтожающее всю теорию*» (?)³³. Какой простой и, вместе с тем, какой действительный приём! Кажется, Талейран сказал: «дайте мне два слова, написанные рукою человека, и я найду улики, чтобы его повесить». Но то ли ещё можно сделать с человеком, если его слова подменить другими, да ещё в два приёма? Г. Страхов забыл только, что делать такие превращения на глазах у читателя, на той же странице, на той же строке — приём уж чересчур наивный. Ведь, и фокусник, прячущий в один рукав часы, а из другого неуклюже вытаскивающий канарейку, едва ли может рассчитывать на аплодисменты самых снисходительных зрителей.

Разделавшись так легко с Дарвином, г. Страхов набрасывается на меня, с целью доказать, что я оказываюсь «plus royaliste que le roi», что бывшее для Дарвина только «вопросом», для меня «непреложная истина». Сущность дела вот в чём. Данилевский пытался доказать, что, по Дарвину, для того, чтобы известное, вновь возникшее изменение сохранилось, оно необходимо должно охватить $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{3}$ и даже $\frac{1}{2}$, всех представителей данной формы, а так как допустить, чтоб это всегда или хоть часто случалось, в высшей степени невероятно, то и вывод Данилевского понятен: дарвинизм, основанный на такой невозможности, невозможен, нелеп. Я на это возражаю, что возникновение такого громадного процента изменённых существ не

³³ Не стоит и пояснять, что даже если б вместо «редко» пришлось сказать «никогда», то теория от этого не только не уничтожилась бы, но и не изменилась бы.

составляет *необходимого* условия дарвинизма и что Дарвин никогда такой *необходимости* не допускал. Что же делает г. Страхов? Он обращается в поисках за опровержением меня к самому Дарвину и продуцирует перед удивлённым читателем подлинный текст, сопровождая своё торжество приличествующими, по его мнению, ужимками и прибаутками. Вот это место его статьи: «Но тут г. Тимирязева постигла странная неудача. Вопреки всякому ожиданию, оказалось, что Дарвин сам сделал этот *бесчестный*³⁴ расчёт, столь возмущающий г. Тимирязева. Через страницу после знаменитой 126 стр. приводятся у Н. Я. Данилевского следующие слова Дарвина:

«Или только третья, пятая доля, десятая доля индивидуумов могла подвергнуться такому воздействию, чему могли бы быть представлены примеры». «В случаях такого рода, если б изменение было благоприятного свойства, коренная форма была бы *скоро*³⁵ замещена посредством переживания приспособленнейших» («*Orig. of species*», VI ed., p. 72).

«И Н.Я. Данилевский замечает: «Значит, Дарвин идёт в своих *требованиях*³⁶ так же далеко, как и я».

«Вот как жестоко Дарвин изменил г. Тимирязеву!» — восклицает торжествующий г. Страхов.

Точно так ли, г. Страхов? А я так полагаю, что для всякого человека, не утратившего способности логически рассуждать (или не желающего прикидываться таковым), не только Дарвин *не изменил* мне, но между тем, что я говорю, и приведённую фразой *нет и тени противоречия*. Разъясним дело обстоятельно.

Прежде всего, я удивляюсь ненаходчивости г. Страхова; зачем не пошёл он далее Данилевского. Несколькими строками выше приведённого места Дарвин говорит, что *иногда* изменение может охватывать *всех* представителей данной формы и в таком случае не может быть и речи об отборе. Вот фраза, которую можно было бы выгодно эксплуатировать. Можно было бы сказать (по примеру Данилевского): Дарвин *требует*, чтобы *все* представители изменялись, и сам же при этом сознаётся, что в таком случае отбора уже не будет, — Дарвин *требует* упразднения дарвинизма, — что и доказать надлежало! Упустил, упустил г. Страхов обнаружить обычную свою аргументацию во всём её неподражаемом блеске. Читатель, привыкший к этой аргументации Данилевского и г. Страхова, уже догадывается, что дело

³⁴ Курсив г. Страхова.

³⁵ Мой курсив.

³⁶ Мой курсив.

кончится знаменитым умозаключением: «не всё — значит ничего»; «редко — значит никогда»; теперь он явится в новом варианте: «иногда — значит всегда». Поясню дело сначала более простым сравнением, а затем перейду к ближайшему анализу данного случая. Положим, в разговоре, я сказал бы, что между гвардейскими солдатами попадают саженные молодцы; имел ли бы право, на основании этой фразы, г. Страхов закричать: «слушайте, слушайте, вот Тимирязев *требует*, чтобы в гвардию набирали только саженных молодцов!»? Полагаю, что не имел бы. Точно также для существования естественного отбора Дарвин не *требует*, чтобы изменения всегда охватывали $\frac{1}{2}$ или, по меньшей мере, $\frac{1}{3}$ всех неделимых данной формы; такое требование, по своей невозможности, граничило бы с нелепостью. Потому-то его именно и требуют за *Дарвина* Данилевский и г. Страхов и с обыною развязностью хотят уверить, что их голосом учит сам Дарвин. Дарвин просто *заявляет факт*, что бывают *даже* и такие случаи, и тогда результаты отбора должны обнаруживаться *скоро*. Между тем, всегда они обнаруживаются *не скоро* и, следовательно, не охватывают такого большого числа. Сказать просто о чём-нибудь, что оно *бывает* — не значит сказать, что оно *должно быть*. Заявлять о наблюдаённом *факте* — не значит *требовать*, чтобы он неизменно повторялся всегда и везде. Когда г. Страхов поймёт эту простую истину, то, в то же время, поймёт, что не Дарвин *изменил* мне, а ему, г. Страхову, окончательно изменяет здравая логика. Не потому ли одно упоминание о ней приводит его в раздражение³⁷?

Далее г. Страхов, после лицемерного заявления: «Не ради погони за недосмотрами г. Тимирязева, а ради самого предмета, укажем, что в тех же его строках есть ещё другое уклонение в неопределённость», — обличает эту мою неопределённость в следующей тираде: «Н.Я. Данилевский говорит, что предполагать большое число изменяющихся особей значит *противоречить теории*; г. Тимирязев возражает, что в предположении большого числа никакого противоречия с основаниями теории, ничего *несогласного с природой* не существует». «Тут смешаны, — поясняет г. Страхов, — слиты в одно две разнородные вещи. Именно то, что не согласно с природой, может ничуть не противоречить теории, и, наоборот, то, что противоречит теории, может быть вполне согласно с природой. Так как речь у нас идёт о теории, то природу нужно бы тщательнее отличать от неё. В том всё и дело, что рассмотрение природы вынудило Дарвина сделать предположение, противное началам его теории». Здесь я позволю себе высказать мнение, диаметрально противоположное мнению г. Страхова. Может быть, о верности

³⁷ Наприм., в главе VIII.

какой-нибудь трансцендентальной, метафизической теории, не имеющей никаких точек соприкосновения с действительностью, и можно рассуждать безотносительно, но для натуралиста всякая теория есть только сопоставление реальных фактов; следовательно, если я допускаю, что теория верна (что я и делаю неизменно во всей своей статье), то тем самым заявляю, что она согласна с подлинником, т.е. природой, и, наоборот, опровержение её могу видеть только в её несогласии с этим подлинником. Верность теории и согласие её с природой для натуралиста — одно и то же: говоря об одном, говоришь и о другом. А что, защищая теорию от нападений, я различаю обвинение во внутреннем противоречии (т.е. автора с самим собою) от обвинений во внешнем противоречии, т.е. с природой, то это ясно из того, что, доказав на одной странице, что Дарвин не противоречит себе, я после слов: «Но, может быть, возразят... тем хуже для него» — перехожу к доказательству, что, оставаясь последовательным, т.е. верным себе, он остаётся верен и действительности, т.е. природе. Следовательно, я вперёд опроверг то, что голословно утверждает г. Страхов, а именно, будто «рассмотрение природы вынудило Дарвина сделать предположение, противное началам его теории». Противоречия эти сочинил Данилевский, а повторил г. Страхов, — Дарвин тут не причём³⁸. Значит, не только «ради предмета», но и в смысле «погони за недосмотрами г. Тимирязева», как мы видим, не существующими, г. Страхов сделал бы лучше, если б свои нравоучения оставил при себе.

В конце этой главы, в которой обещано окончательное, конденсированное разоблачение всегдашней ошибки дарвинистов, — обещание пока, как видит читатель, вторично не исполненное, г. Страховым приводится длинная-предлинная выписка из книги Данилевского. В этой выписке г. Страхов, очевидно, усматривает корень всего разоблачения. Это, очевидно, кульминационный пункт всей полемики³⁹. Смысл этой цитаты следующий. Данилевский, отправляясь всё от того же положения, совершенную невозможность которого мы показали, т.е. от предположения, что Дарвин *требует*, чтобы изменения зарождались в громадном ($\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{2}$) числе представителей данной формы, рассуждает далее следующим образом: органические существа, животные и растения, представляют нам ту особенность, которую короче всего выражают словом целесообразность. В этом все согласны, и прежде эту целесообразность считали

³⁸ Во избежание недоразумений повторяю: Дарвин допускает, что изменение может начинаться не с одной, а с нескольких или многих особей, и это вполне согласно и с теорией, и с природой, но он не *требует*, чтобы изменение всегда охватывало с $\frac{1}{5}$ до $\frac{1}{2}$ всех представителей данной формы, что было бы невозможно и, следовательно, несогласно с природой. Это последнее предположение для теории не нужно и выдуманно Данилевским.

³⁹ Так смотрит на дело сам г. Страхов, заявляющий, что мог бы на этом покончить с Дарвином и со мной.

предустановленной, predetermined. Но, по Дарвину, изменчивость есть вообще результат влияния среды, — значит, рассуждает Данилевский, «предустановленная, предопределяющая целесообразность» только переносится с одного места на другое — с самого организма на среду: прежде говорили, что существа созданы целесообразно, а дарвинизм учит, что целесообразно действует среда. Следовательно, образование органических форм остаётся «тайною непостижимой» и, во всяком случае, свидетельствует о «целесообразной разумности» этого процесса, а это уже, по мнению г. Страхова, равносильно отказу самого Дарвина от своей теории.

Приведя длинную выписку, содержание которой мы могли передать в нескольких словах, нисколько не ослабляя её смысла, г. Страхов приходит в восторг и восклицает: «Вот ясная и определённая речь, с которой *всякий должен согласиться*, каких бы он воззрений ни держался! Ибо это есть чистый анализ: тут взяты известные понятия и сделан из них правильный вывод». Вопреки г. Страхову, я утверждаю, что не мало-таки *не должен согласиться* с этою речью не только, например, я, человек иных воззрений, но даже сам г. Страхов, человек одинаковых с Данилевским воззрений, разумеется, под условием, что для него истина дороже других соображений. Что рассуждение Данилевского есть *чистый анализ*, я согласен; что он взял за исходную точку *известные понятия*, также вполне верно. Вся беда в том, что взял-то он для анализа «известные понятия», да *не те*, которые должен был взять. Это «всегдашняя ошибка» диалектиков, забывающих, что их анализ — только механизм, одинаково успешно обрабатывающий и зерно, и труху, и те, и *не те* посылки, которые требуется взять. Анализ может быть и очень «чист», но беда, если аналитик, желая анализировать муку, возьмёт для анализа песок. Такой-то обидный случай и приключился с Данилевским. Он отправляется от того положения, что дарвинизм вынужден будто бы допустить целесообразность воздействия условий на организм. Но откуда он это взял? Что дарвинизм не делает такой посылки, должно быть известно, я полагаю, всякому, кто решается говорить, тем более писать об этом учении. Воздействие условий может быть полезно, совершенно безразлично и даже вредно, — следовательно, ни в каком случае не целесообразно. Целесообразность, по дарвинизму, является только результатом отбора, т.е. многочисленности попыток и малочисленности удач. Да и может ли воздействие среды быть само в себе признано целесообразно-разумным актом, когда большинство результатов этого акта бывает неудачно и только ничтожное число удачно? Представим себе, что какой-нибудь рабочий на спичечной фабрике выделял бы такие спички, из которых миллион

пришлось бы бросить и сохранить одну. Назвали ли бы мы деятельность этого рабочего разумно-целесообразной, и, в конечном результате, зависело ли бы совершенство спичек от деятельности этого рабочего или от деятельности браковщика, отбрасывающего миллион и сохраняющего одну? Так и действие условий само в себе не может быть названо разумно-целесообразным, потому что большая часть существ, подвергающихся этому воздействию, по своему несовершенству, погибает и только малая часть сохраняется. Следовательно, целесообразность организации не есть непосредственный результат воздействия среды, не первичный факт, а вторичный результат сложного процесса, слагающегося из обширного производства и строгой браковки, т.е. результат выживания наиболее приспособленного, как объясняет это настоящий дарвинизм, а не тот, который опять *ad hoc* придумал Данилевский. Обыкновенно предполагается, что, опровергая какое-нибудь учение, прежде всего, дают себе труд с ним основательно ознакомиться, но г. Страхов считает себя совершенно свободным от этого требования.

Таков плачевный исход приводящего г. Страхова в восторг «чистого анализа» не относящихся к делу «известных понятий». Впрочем, к обсуждению этого вопроса мы будем вынуждены вскоре вернуться; такова уже своеобразная манера изложения у г. Страхова, не известно почему втиснувшего этот вопрос в настоящую главу, тогда как далее он посвящает ему целую специальную главу.

А пока оглянемся назад, поищем, где в настоящей главе скрывается обещанное раскрытие «всегдашней ошибки»: в голословном брюзжании Негели или Данилевского? В огульном признании неспособности английской нации к здравому мышлению? В неудачных придирках г. Страхова к двум фразам Дарвина, — придирках, обратившихся на голову самого обвинителя? В ещё менее удачном открытии какой-то измены Дарвина мне? Или, наконец, в восторгах по поводу длинной тирады Данилевского, заключающей «чистый анализ» «известных понятий», с дарвинизмом не имеющих ничего общего?

Г. Страхов так и остался в долгу у своих читателей; несмотря на повторённое в заголовке главы обещание раскрыть «всегдашнюю ошибку», он продолжает хранить своё открытие при себе.

Это, впрочем, нисколько не мешает ему с обычною развязностью, на этот раз рассчитанную разве на читателей, которые прочтут только заголовок и заключительные строки, закончить эту главу словами: «Повторим, вся сила дарвинизма — в неопределённости посылок и в неправильном обобщении

выводов; при точном анализе, при отчётливом вникании в сложный ход предполагаемого процесса, эта сила исчезает без остатка».

Но где же хоть тень доказательства этого смелого заявления? Где же «точный анализ» или «отчётливое вникание»? Их-то и забыл сообщить читателям г. Страхов.

Таким образом, в конце главы г. Страхов остаётся при своей точке отправления в её начале. Взявшись *доказать*, что всегдашняя ошибка дарвинизма заключается в увлечении «общими неопределёнными положениями», он в заключительных словах просит поверить ему на слово (так как не привёл тому доказательств), что «в неопределённости посылок и неправильном обобщении выводов и заключается всегдашняя ошибка дарвинизма. Я полагаю, каждому гимназисту известно, что такой приём доказательства давно предусмотрен и называется *petitio principii*».

Да, жестоко мстит за себя логика!

XII. Значение численности.

Казалось бы, что в предшествующей главе, судя по её заголовку, задача г. Страхова исчерпана, но он вдруг спохватывается и говорить; постойте, постойте, — забыл ещё одно обстоятельство, — и, как оказывается, обстоятельство немаловажное. Мы видели выше, что г. Страхов не одобряет моего способа изложения и очень гордится своим; у него всё — «в связи, в порядке и даже под цифрами». Цифры-то есть несомненно и замысловатые заголовки совсем как в старинных романах (теперь и в романах их что-то не встречается), но, воля ваша, порядок странный: постоянно возвращаться к точке отправления, успокоить читателя, что доконал противника, совсем покончил с ним, и опять начинать сначала. По счастью, на этот раз, дело так просто, что терпению читателя не грозит слишком долгое испытание. Мы опять возвращаемся к старой аргументации. Каждая вновь появившаяся изменённая форма будет иметь против себя большее число неизменённых, следовательно, по словам Данилевского, может сохраниться в борьбе только под условием, чтобы *превосходство было во столько раз более, во сколько меньше численность*. Г. Страхов называет это *теоремой* и усматривает в ней, по-видимому, второе «истинное открытие» Данилевского. Доказывает свою «теорему» Данилевский, главным образом, военными притчами, так как для всякого очевидно, что десять солдат могут успешно дать отпор ста солдатам

только в таком случае, если могут выпускать в десять раз более зарядов. Но на это я отвечаю: «Уже из одного постоянного сравнения с армиями видно, что Данилевский, в самом существенном месте своей книги, понимает под борьбой только борьбу прямую, зубами, когтями, кулаками, где, очевидно, сила должна быть в обратном отношении к числу. Но всякому, кто прочёл хоть самую жиденькую статейку о дарвинизме, *известно, что* не таково действительное понятие о борьбе за существование. Борьба за существование складывается из прямой борьбы с врагами, из борьбы с условиями и из конкуренции, как результате несоответственности между безграничным размножением и ограниченностью земной поверхности». Г. Страхов, очевидно, ничего не в состоянии мне возразить. Что же он делает? Он прибегает к приёму, которым уже пользовался не раз и который, судя по тому, что я узнал из статьи г. В. Соловьёва в «*Вестнике Европы*», грозит войти у него в привычку. Он предъявляет читателю приведённую только что мою фразу, обрубив её внезапно на запятой, между словами *известно* и *что*, и вслед затем, ничем не смущаясь, вразумляет своих читателей следующим резким суждением: «мы желаем только обратить внимание читателей на то, что в *борьбе за существование*, по мнению г. Тимирязева, «численное превосходство не имеет почти никакого значения» (стр. 164). К сожалению, он не приводит совершенно никаких соображений, из которых можно бы было понять, почему численность не должна играть роли в процессе борьбы». Кажется, ясно, и вносные знаки, и ссылка на страницу, — всё в исправности. Очевидно, я сказал какую-то невозможную нелепость. Но так ли оно на деле? Если всякий сообразительный читатель поймёт, что первая цитата г. Страхова оборвана перед словом *что*, то, конечно, никто не в состоянии догадаться, что вторая начинается даже не с запятой. Если у первой отрезан неудобный г. Страхову конец, то у второй обрублено ещё менее удобное начало. Прошу позволения у читателя повторить этот конец, прямо переходящий в начало следующей, искалеченной г. Страховым, фразы: «Борьба за существование складывается из прямой борьбы с врагами, из борьбы с условиями и из конкуренции, как результат несоответственности между безграничным размножением и ограниченностью земной поверхности. Из этих трёх сторон одного явления, борьбе с условиями и конкуренции должна быть приписана главная роль, *а именно в этих двух случаях* численное превосходство не имеет почти никакого значения». Эту мысль, очевидную в себе самой, я вслед затем поясняю примерами.

Теперь, полагаю, читателю ясно, для чего г. Страхову понадобилось оборвать фразу на запятой, а вторую начать даже не с запятой; этим разом

достигались две цели: от читателя тщательно скрывалась сущность вопроса, а мне приписывалась нелепая мысль, будто я отрицаю значение численности в *борьбе вообще*, т.е. и в *борьбе прямой*, чего я никогда не высказывал и не мог высказывать. Я возражаю против «теоремы» Данилевского, что она применима только к частному и сравнительно не важному (в растительном царстве, напим., не существующему) случаю *прямой борьбы*⁴⁰. Гораздо большее (а в растительном царстве исключительное) значение играет *борьба с условиями и конкуренция*, а в *этих случаях* «численное превосходство не имеет почти никакого значения».

Но для достижения своей цели г. Страхов не остановился на одном калечении моих фраз, — он изобрёл ещё новый диалектический приём, и это его «истинное открытие», надеюсь, никто не станет у него оспаривать. В начале следующей же страницы ему пришлось привести ещё цитату, в которой встречается та же мысль, которую он так старательно обрубил в начале и в конце предшествующих двух цитат, но здесь, как на зло, оно занимает средину фразы. Как тут быть? Как скрыть её? А скрыть необходимо, иначе разоблачится вся проделка. Для благой цели все средства хороши; и вот г. Страхов вычёркивает мои слова, заменяет *их своими*, да ещё курсивом! Я говорю: «значит, в *борьбе с условиями*, которая гораздо важнее *прямой борьбы с врагами*, численное отношение ни при чём». А г. Страхов заставляет меня говорить: «Значит, в *борьбе за существование*, которая гораздо важнее *прямой борьбы с врагами*, *численное отношение ни при чём*» (стр. 164). Таким образом, г. Страхов ухитряется заставить меня в трёх строках сказать три нелепости: 1) утверждать, что в *борьбе за существование вообще* (следовательно, со включением *прямой борьбы с врагами*) численность ни при чём; 2) противопоставить целое (*борьбу за существование*) его части (*борьбе с врагами*); 3) высказать бессмысленный трюизм, что целое (*борьба за существование*) важнее своей части (*борьбы с врагами*). Но что до того г. Страхову? Его цель достигнута: от читателя утаён настоящий смысл вопроса, мне приписана нелепость и «теорема» Данилевского спасена⁴¹.

Предоставляю судить беспристрастному читателю, какою дозой терпения и отвращения к полемике нужно было обладать для того, чтобы спокойно

⁴⁰ Т.е. прямая борьба в растительном царстве не бывает обоюдная.

⁴¹ На той же странице г. Страхов позволяет себе следующую шутку. Обвиняя меня в презрении к Данилевскому, он говорит в особой выноске: «Нельзя ли употребить известную поговорку в таком виде: Скажи мне, кого ты презираешь, и я скажу тебе, кто ты такой?» Нельзя ли мне теперь пародировать эту шутку в такой форме: «Скажи, как назвать твой поступок, и всякий тебе скажет, кто ты такой»!

сносить, как это я делал до сих пор, такие неслыханные проделки над своими мыслями.

Рекомендую ценителям критического таланта г. Страхова (например, его биографу, признавшему *«Всегдашнюю ошибку»* перлом его научно-литературной деятельности) этот новый диалектический приём. Вот его рецепт: обрежь конец одной фразы; обруби начало другой; выкинь, что тебе не нравится, в третьей и замени нелепостью; напиши эту нелепость курсивом... да не забудь сослаться на страницу. А затем посмеивайся втихомолку над доверчивым читателем.

Как я уже сказал, само в себе очевидное положение, — независимость борьбы с условиями существования от относительного числа состоящих, — я поясняю примерами. Я говорю: если какой-нибудь организм может вынести такую высокую температуру, какой не вынесут его соседи, то, в случае повышения температуры до этого предела, для него будет безразлично, окажется ли он один, или в сообществе миллионов менее счастливых соперников. Рассуждение это очевидно и в такой отвлечённой форме, но, как натуралист, я предпочитаю сослаться на конкретный факт, на наблюдение одного микроскописта. Для всякого ясно, что подробности обстановки опыта тут ни при чём, так как, повторяю, аргумент очевиден и в его отвлечённой форме. Что же делает г. Страхов? Обвиняя меня в том, что я аргументирую примерами, сам, вместо того, чтоб возражать на логическую сущность примера, чего, конечно, не в состоянии сделать, он отвлекает внимание читателя совершенно в сторону, на подробности опыта, и с тонкою, по его мнению, иронией изображает учёного, сидящего за микроскопом и нагревающего свои бактерии, т.е., по мнению г. Страхова, исследующего явление, будто бы невозможное *«в природе»*. Этот приём г. Страхова мне невольно напоминает старый анекдот из чиновничьего мира. Начальник спрашивает чиновника: «Понимаете ли вы, что нам пишут из такого-то ведомства?» — а догадливый подчинённый отвечает прямо на мысль своего начальника: «Понимать, ваше превосходительство, не понимаю, а отвечать могу». Г. Страхов пошёл ещё далее этого чиновника: понимать-то он понимает, в чём дело, но может отвечать так, как будто и не понял. Г. Страхов не может не понять, что дело не в микроскопе, не в нагревательном столике или равномерной температуре, а в общем логическом положении, что если в *данном случае* какой-нибудь организм погибает или сохраняется, в зависимости от какого-нибудь внешнего влияния, то он умирает или сохраняется в живых независимо от того, много ли, мало ли умирает или сохраняется живых существ вокруг. В том только и дело, что можно быть

живым или мёртвым, но нельзя быть во сто раз живее или в тысячу раз мертвее, или быть живым пропорционально числу мёртвых.

Впрочем, чтобы читатель и в самом деле не поверил, что в природе ничего подобного приведённому мною примеру невозможно, приведу пример совершенно сходный. Целый ряд наблюдений заставляет предполагать, что солнечный свет (это уже природа, г. Страхов?) убивает некоторые бактериальные организмы. Что же, если между ними найдутся такие, которых свет не будет убивать, — их сохранение в живых будет ли зависеть от числа убиваемых?

Для того, чтобы ещё более запутать дело, г. Страхов рассуждает так: пусть на первый раз уцелеют те организмы, которые выносят высокую температуру, что же потом? Оригинальный способ рассуждать не о том случае, о котором идёт речь, а о том, что будет после этого случая. Почём я знаю, г. Страхов, что будет после. Может быть, в другой раз отбор будет зависеть от мороза и сохранятся, наоборот, формы самые сносливые к холоду, а в результате получится форма вдвойне совершенная, способная существовать в самых широких пределах температуры и в силу этого она получит и широкое распространение. Но г. Страхов может спросить: а после этого что будет? — и так до бесконечности отвлекать внимание от настоящего вопроса.

Не удовольствовавшись тем, что, при помощи разговора о совершенно к делу не относящихся побочных обстоятельствах, он увильнул от сущности вопроса, т.е. общего положения, что влияние среды не зависит от числа существ, на которые она действует, г. Страхов укоряет меня, зачем я не проникся каким-то сравнением Данилевского с игрою в банк. Должен покаяться, что всё, касающееся карт, для меня тараборская грамота, да и между знакомыми не нашлось сведущих людей по этой части; к тому же ещё Данилевский сопровождает свой пример оговоркой: «допустим случай, обратный бывающему в действительности». При всём том, полагаю, что игра в банк также относится к случаям прямой борьбы, а не к «действию условий существования», так как каждый из играющих посягает на карман противника и выигрыш одного неизбежно сопровождается соответственным проигрышем другого. При действии же условий (наприм., температуры), судьба различных существ, им подвергающихся, ничем между собою не связана, — ведь, одному не становится теплее потому, что другому стало соответственно

холоднее?⁴² Следовательно, сравнение с игрой в банк, в основе, так же неудачно, как и военные притчи Данилевского.

Показав, что численность ни при чём в борьбе с условиями существования, я привожу примеры в подтверждение того, что она не играет почти никакой роли и в конкуренции. Я указываю, что торговец, продающий по *дешёвой* цене, продаёт свой товар независимо от того, много или мало товару предлагают рядом по *дорогой* цене. Я указываю, что призовой рысак возьмёт приз, всё равно, будет ли с ним бежать одна или десять извозчичьих лошадёнок. Указываю, наконец, что если в учебном заведении была одна вакансия и тысяча конкурентов, то попавший на вакансию не будет в тысячу раз умнее своих конкурентов. Наконец, предвидя (слишком я хорошо знаю своих противников) возражение, что всё это не относится к природе, я привожу примеры, где ничтожные признаки дают перевес в борьбе (окраска цветов душистого горошка и клубней картофеля). Что же делает г. Страхов? Он минует первые два примера, как такие, в которых неудобно прицепиться к подробностям, и совершенно умалчивает о примерах, взятых из природы, так как одно упоминание о них, как увидим, расстроило бы всю последующую его аргументацию. Аргументацию эту он сосредоточивает на примере об училище, как таком, по поводу которого можно опять наболтать к делу не относящегося и отвлечь внимание читателя от сущности дела. Он глубокомысленно замечает, что пример училища есть пример отбора *искусственного*. Знаем и без объяснения г. Страхова, что школа — творение человеческое, а не произведение природы; но, спрашивается, почему же это соображение, эта отговорка понадобилась г. Страхову, чтобы отделаться от моих сравнений, *идущих к делу*, и не мешала ему, ещё за несколько строк, восхищаться сравнениями Данилевского, *к делу не идущими*? Или *его игра в банк, армии, казацкие отряды, манежи и конюшни*, — всё это произведения природы? Но г. Страхов, изрёкши глубокую истину, что экзамен в школе пример искусственного отбора, полагает, что сделал всё, что требовалось, и торжественно восклицает: «Но, ведь, весь вопрос в том, бывает ли что-нибудь подобное в природе?» Ещё бы не явиться вопросу, замечу я, когда г. Страхов тщательно утаил от своих читателей то, что я говорю о природе! «Кто же в природе играет роль директора? — победоносно продолжает он. — Кто тщательно высчитывает баллы, сохраняет под своим кровом имеющего наибольший балл, а остальных беспощадно гонит от дверей?»

⁴² Ведь, если игра в банк не прямая борьба, а пример действия условий существования, то и драка с завязанными глазами (есть, ведь, и такое препровождение времени), — не драка, а действие внешних условий; в неё также входит элемент случайности.

Что заменяет в природе искусственный отбор? — спрашивает г. Страхов. «Кто исполняет в природе роль директора?» В свою очередь так и хочется спросить г. Страхова, шутит ли он, или говорит это совершенно серьёзно? Если он серьёзно воображает, что первый придумал такое ядовитое возражение, то пусть разуверится: этому аргументу без малого тридцать лет и уже при первом появлении он был оценён по достоинству. Если же г. Страхов действительно не понимает, что заменяет в природе искусственный отбор, то на это может быть только один ответ — совет прочесть книгу: *«On the origin of species by means of natural selection»*; издана она в Лондоне, в 1859 году, а автора её зовут Чарльзом Дарвином.

Затем, поговорив ещё на неопределённую тему — о гибели от случайностей, — тему, не имеющую ничего общего с вполне определённым вопросом, находится ли борьба со средой и конкуренция в прямой зависимости от отношения между числом сохраняющихся и погибающих существ, он голословно и ещё курсивом утверждает, что для того, чтоб сохраниться в живых, организм должен обладать *огромным* превосходством над другими. При этом г. Страхов, очевидно, забыл или ещё не знал (в том и беда, когда распределяешь свои мысли по клеткам «под цифрами»), что в следующей главе, через страницу, напишет такие строки: «в организмах жизнь от смерти отделяется одною чертой, следовательно, и то, что полезно, может одною чертой отделяться от того, что вредно; таким образом, *огромное различие вреда и пользы*, может происходить от *бесконечно малого различия* в самых организмах или в *обстоятельствах*, среди которых они живут». Но, ведь, именно *это*, и ничто иное, утверждаю я — и именно *это*, и ничто иное, упорно отрицает Данилевский, которого всеми правдами и неправдами защищает г. Страхов. Данилевский утверждает, что малое различие бесполезно, а большое различие (пропорциональное числу конкурентов?) не может возникнуть вдруг и не успеет сложиться исподоволь. Я же говорю, что ничтожное различие (1/20 балла в моём школьном сравнении) определяет судьбу существа.

Всё это не мешает г. Страхову заключить и эту главу голословным, бездоказательным повторением положения, которое требовалось и оказалось невозможным доказать, т.е. пресловутой «теоремы» Данилевского: *«Превосходство должно быть во столько больше, во сколько меньше численность и наоборот»*. А из этой теоремы следует, поясняет, ничем не смущаясь, г. Страхов, «что теория Дарвина невозможна». На этот раз, для усиления своего *petitio principii*, г. Страхов, как видим, пишет его курсивом. Но курсив — не довод. По этому поводу припоминается мне сходный случай с

одним немецким учёным (Саксом). Высказал он также «теорему», которая никого не убедила. Что ж сделал он? Во втором издании своей книги, велел набрать «теорему» даже не курсивом, а сплошь прописью. Представьте себе, и этим не убедил. Да, впрочем, г. Страхов, ведь, и сам говорит, что знает нравы учёных, никакими типографскими украшениями их не убедишь, твердят себе одно: предъявите нам факты и логические доводы.

А что г. Страхову нечего предъявить, ясно до очевидности; стал ли бы человек, располагающий доводами, прибегать к таким приёмам, как те, с которыми нам пришлось познакомиться в этой главе?

Жестоко, жестоко мстит за себя логика!

XIII. Слепая природа.

Прочтя этот сенсационный заголовок и твёрдо помня, какие мысли развивал г. Страхов ранее (наприм., в IV и в конце XI главы и т.д.), я был убеждён, что под словом *слепая* скрывается тонкая ирония. Но каково же было моё изумление, когда я узнал, что этот эпитет нужно понимать в прямом, серьёзном смысле и что он выражает будто бы воззрения самого г. Страхова. Что за мистификация! Читал я и перечитывал эту главу, но так и не выяснил себе, что же такое природа — *слепая*, целесообразно предопределяющая разумность⁴³ или целесообразно предопределяющая, разумная, *слепота*? Как ни кинь, всё клин. И, наконец, если г. Страхов допускает, что природа (со включением органического мира) слепа, т.е., выражаясь менее фигуральным, более обычным для учёного языком, если она управляется неизменными механическими законами, то где же корень разногласия с дарвинизмом? Постараемся разобраться в этом хаосе противоречий. Речь в этой главе вертится, главным образом, вокруг того коренного противоречия, на которое я указывал в книге Данилевского и которое приводит основную его аргументацию к абсурду. Коренное философское различие между дарвинистами и антидарвинистами того толка, к которому принадлежат Данилевский и г. Страхов, сводится, главным образом, к следующему. Чтобы сохранить более полное беспристрастие, буду говорить словами антидарвиниста, правда, антидарвиниста учёного, именно Катрфажа. «Попытка Дарвина, — говорит он, — заключалась в том, чтобы объяснить действием одних *вторичных причин* то чудесное целое, которое изучают

⁴³ Как в главе XI.

ботаники и зоологи; он захотел нам объяснить его происхождение и развитие таким же образом, каким астрономы и геологи объясняют нам, как возникла наша планета и как произошло то, что мы теперь на ней видим. В этой грандиозной попытке великого ума нет ничего незаконного» и т.д. Объяснение происхождения и современного строя органического мира такими же «вторичными причинами», какими объясняет подлежащие явления астроном и геолог, вот, следовательно, задача дарвинизма. Задача Данилевского и г. Страхова прямо противоположная: доказать, что процесс происхождения организмов — процесс загадочный, таинственный, необъяснимый без непосредственного вмешательства целесообразно предопределяющего разумного начала, что объяснения вторичными причинами в биологии не применимы, что биолог в своих объяснениях, или вместо объяснений, вынужден непосредственно восходить к первичной причине — к «интеллектуальному началу».

Особенность организмов, отличающая их от неорганизованного и нуждающаяся в объяснении «вторичными причинами», заключается в той их черте, которая (худо ли или хорошо) издавна обозначается словом «целесообразность». Происхождение этой (кажущейся) целесообразности дарвинизм объясняет, как известно, следующей «вторичною причиной»: в природе существует процесс, устраняющий все бесполезные и вредные организации и сохраняющий и накапливающий все полезные, разумея под полезными такие, которые обеспечивают существование обладающих ими организмов. Польза, каждый раз проявляющаяся, может быть ничтожна, но зато и процесс накопления её обнимает несметные периоды времени. Сегодня — польза, завтра — польза, всегда польза, в итоге, большая, громадная, изумительная польза, т.е. та именно целесообразность, которая нас поражает в окончательном результате.

Данилевский вообразил, что нашёл могучий довод против дарвинизма в следующем соображении. Дарвинизм, — рассуждает он, — сохраняет и накапливает в организмах только полезное и таким образом направляет их к совершенству. Значит, — заключает он, — все существа всегда должны быть совершенны (всё тот же знакомый способ аргументации), и вслед за тем посвящает значительную часть книги набору примеров, доказывающих несовершенство организмов, доходя при этом порою до глумления, приговаривая: вот это так бесполезный орган и т.д. Но всякий, рассуждающий хладнокровно, поймёт, кого же поражает эта аргументация, — дарвинизм ли, допускающий в природе только существование процесса, направляющего организмы к совершенству, а не абсолютное их совершенство, или

сторонников непосредственного вмешательства в «таинственный морфологический процесс» целесообразно предопределяющего «интеллектуального начала». Присутствие несовершенства, неразумности в природе можно ещё, пожалуй, рассматривать как аргумент в пользу того, что совершенство достигается путём медленного, слепого, механического процесса, каков естественный отбор. Но неразумная деятельность разумного начала, воля ваша — как будто *contradictio in adjecto*. Возможность такого грубого, режущего слух противоречия только тем и объясняется, что оно распределено на двух противоположных концах толстой книги и свести эти концы предоставляется читателю. А этот читатель, — г. Страхов, за деревьями не видел леса: услаждаясь диалектической шумихой отдельных фраз, он не заметил логического противоречия целых глав. Но как же было выпутаться, раз противоречие было мною выставлено на показ? Отчаянной попытке выбраться из этого промаха и посвящена настоящая глава.

В бесконечно-запутанном изложении, извивающемся и ускользающем из рук, как уж, г. Страхов пытается даже в одном месте совершенно извратить роли, выставить меня защитником непосредственного вмешательства в процесс образования организмов Мирового Разума, а себя с Данилевским — строгими сторонниками закономерных процессов слепой природы⁴⁴. Но это ему не удастся.

Вооружимся терпением и проследим шаг за шагом эту, мечущуюся из стороны в сторону, аргументацию. Прежде всего, г. Страхов обвиняет Дарвинизм в том, что он весь построен на неопределённом будто бы понятии о пользе. Весьма глубокомысленно (но довольно непонятно в устах бывшего зоолога) он сравнивает трудность отвечать на вопрос: «для чего служит такой-то орган?» с трудностью отвечать на вопрос: «*для чего существует этот мир?*» — и вслед затем храбро утверждает, что «телеологические рассуждения *Дарвина* и его последователей производят обыкновенно впечатление смутного брожения мысли, не имеющей никакого руководящего правила», и далее, что «на вопрос о пользе дарвинисты отвечают просто произвольным придумыванием каких-нибудь подходящих условий». Скажи ещё г. Страхов — некоторые из дарвинистов или хоть огульно дарвинисты, он имел бы хоть тень основания: в семье не без урода; хотя не совсем-то благовидно, говоря о семье, иметь в виду только уродов. Но он осмеливается

⁴⁴ В одном месте своей статьи выражение Данилевского «интеллектуальное начало» я перевожу по-русски выражением «Мировой Разум». Г. Страхов делает вид, будто не понимает, что речь идёт о воззрениях Данилевского (хотя в моём изложении нет места для недоразумения) и разыгрывает какое-то водевильное *quiproquo*.

обвинять в том самого Дарвина, рассчитывая при этом, конечно, на полное невежество своих поклонников в современном естествознании. Как ставят и разрешают вопрос о полезности «Дарвин и его последователи», читатели г. Страхова, не желающие быть сознательно введенными в заблуждение, могут узнать хоть из моего краткого очерка: «Чарльз Дарвин и его учение»⁴⁵. Приведу один пример. Требуется доказать, что все особенности цветка — окраска, форма и т.д., — словом, все признаки, казавшиеся только эстетическими, полезны растению. Дарвин останавливается на объяснении, что всё это полезно в смысле привлечения насекомых для перекрёстного опыления. И вот, в целом томе, посвящённом семейству орхидных, он до называет, что формы этих цветов, очевидно, приспособлены к посещению насекомых. В другом томе он указывает на присутствие таких же приспособлений у целого ряда растений. Эти две работы породили обширную литературу, показали широкую распространённость подобных приспособлений. Но Дарвину этого было недостаточно. Самый факт полезности перекрёстного оплодотворения казался ему недостаточно обоснованным, и вот является третий том исследований, обнимающих более чем десятилетние экспериментальные исследования, подтверждающие это положение. Следовательно, разрешению вопроса о пользе одного органа — цветка посвящается три тома; это ли «смутное брожение мысли» и «произвольное придумывание?» Такого же метода держался Дарвин в вопросе о насекомоядных растениях и в других специальных своих исследованиях. Вот как учил ставить и разрешать вопросы о пользе органов Дарвин. Ставил он их на основании *многочисленных наблюдений*, а разрешал на основании *прямых, очевидных опытов*. «Смутное же брожение мысли» было всегда излюбленным уделом философов-метафизиков, чему мы вскоре и увидим пример.

Желая ещё более затемнить понятие о пользе, лежащее в основе дарвинизма, г. Страхов старается уверить, что понятие это дарвинисты выводят из понятия о борьбе, которое в свою очередь ему будто бы удалось подорвать. Стоит ли пояснять читателю, что пользу дарвинисты понимают так же, как и всякий бесхитростный, здравомыслящий человек? Польза, это — приспособленность органа к его отправлению, организма — к его среде. Польза, это — зубы, которыми можно жевать, это — мех, который может защитить от непогоды. *Pas plus malin que sa*, г. Страхов! Никакие ухищрения не убедят здорового человека, что на вопрос: для чего служат зубы, так же трудно

⁴⁵ Стр. 190 и вообще вся глава VI, представляющая примеры специальных исследований Дарвина и разъясняющая общий метод, которым он руководился в разрешении частных вопросов.

ответить, как и на вопрос: «для чего существует этот мир». Наконец, чтобы окончательно сбить с толку читателя, г. Страхов предъявляет и ту мою фразу, которую так тщательно утаивал от него в предшествовавшей главе, куда она прямо относилась. Доказывая, как ничтожны (а не *громадны*, что так тщетно усиливался там доказать г. Страхов) могут быть признаки, определяющие победу в борьбе, я говорю: «И как можем мы определить *степень* полезности признака в природе?» — причём ссылаюсь на такие эмпирически дознанные, но ближе необъяснённые факты, как перевес в борьбе, доставляемый колером цветов душистого горошка и т.д. «Итак, — подхватывает г. Страхов, — судить о том, что полезно и вредно, очень *трудно*. Дарвинисты и пользуются этою трудностью, чтобы иметь полную свободу в своих предположениях». Но всякий, не утративший способности здраво рассуждать, понимает, что вывод, сделанный г. Страховым, вовсе не вытекает из посылок. Из них следует только то, что, подобно Дарвину, в трёх томах своих исследований объяснившему пользу частей цветка вообще, какой-нибудь дарвинист, на тридцати, а, может быть, и на трёх страницах, должен объяснить, в чём заключается специальная польза известной окраски цветов душистого горошка; — следует только то, что заниматься наукой *труднее*, чем писать пасквили на неё, а этим в свою очередь объясняется и то уважение, которое образованные люди питают вообще к науке и к её деятелям, и совершенно обратное чувство, которое они питают к людям, пробавляющимся столь же дешёвым, как и безуспешным глумлением над этою наукой.

Подозревая безуспешность этой попытки уверить читателя, что польза — какое-то тёмное, неуловимое понятие, и не надеясь, что все читатели поверят, будто дарвинисты только выдумывают эту пользу, г. Страхов изменяет тактику и, допустив возможность понимать пользу органов, старается только доказать, что возникнуть эта польза не могла тем путём, как учат дарвинисты. При этом, вероятно, на основании знакомой нам теории, что тот, кто сам мыслит, не различает своих мыслей от чужих, он ни одним словом не обмолвливается, что возражение его принадлежит не ему, а почти так же старо, как самый дарвинизм.

Возражение это следующее. Если вполне развитый орган даже и очень полезен, то, может быть, того же нельзя сказать о низших стадиях его развития; тогда полезность его могла быть ничтожна, он мог быть вовсе бесполезен, и, следовательно, естественный отбор, действующий только в силу полезности, не может нам объяснить первоначального возникновения и сохранения этого органа.

Возражение это старое; ему посвятил не один десяток страниц, в своей книге, сам Дарвин, отвечая, несомненно, самому сведущему и изобретательному своему противнику — Миварту. По самому существу дела, понятно, что спор этот может вестись только на почве строго определённых частных случаев, — в общей диалектической форме он не имеет смысла. Дарвину и были, действительно, предъявлены примеры более сложные и замысловатые, чем пример крыла, упоминаемый г. Страховым, и были им успешно устранены. Поясним дело на одном примере. Глаз высших животных представляется органом изумительно полезным, но можно ли сказать то же о промежуточных стадиях образования этого органа? Опускаясь по лестнице существ до самого простейшего появления этого органа, встречаем простое цветное пятно, которое, поглощая свет, всё же может приблизительно указывать направление его источника. Совсем недавно один медик предлагал новый аппарат для слепых, прикрепляющийся ко лбу и, вследствие нагревания и вызываемого им термоэлектрического тока, возвещающий о направлении и близости источника света. Конечно, это не глаз, но, по мнению изобретателя, уже и это ощущение может принести пользу, облегчить тяжёлое положение страдальцев. Следовательно, относительно глаза мы вправе сказать, что с самой низшей стадии своей организации он мог быть полезен. Повторяю, высказанные г. Страховым соображения очень стары. Они могут обсуждаться только детально, на строго определённых случаях. Много таких случаев предъявлено и устранено. Появятся, конечно, и новые; для их разъяснения могут потребоваться годы исследований — в том и польза дарвинизма, в том одна из причин необычайного оживления, которое это учение внесло в науку. Рассуждения же на эту тему в общей отвлечённой форме относятся именно к области «смутного брожения мысли». К этой же категории принадлежит и следующее общее соображение, развиваемое г. Страховым по тому же поводу. Говоря о необходимости соотношения и гармонии частей, он ставит общее положение: «Полезное устройство, ведь, одно, а отступлений от него бесчисленное множество и все они будут бесполезны и вредны». Сильно и уверенно сказано; но я полагаю, что с ещё большим успехом можно защищать прямо противоположный тезис: задача одна, а разрешений её несметное множество. В самом деле: задача неделимого — расти, чтоб питаться, и питаться, чтоб расти; задача вида — существовать, чтобы размножаться, и размножаться, чтобы существовать. Всё бесконечное разнообразие форм и явлений, представляемых органическим миром, только вариации на эту простую тему. Значит, задача допускает несметное число разрешений, а если припомним, что число удачных разрешений совершенно ничтожно в сравнении с числом неудачных (в силу

геометрической прогрессии размножения), то убедимся, что результат процесса далеко не так загадочен. Я хочу этим только показать всю бесплодность тех общих диалектических соображений, до которых такой охотник г. Страхов, несмотря на то решающийся упрекать дарвинизм в неопределённости, в уклонении от конкретных случаев, в «смутном брожении мысли», между тем как всякий, кто хоть несколько часов подержал в руках книгу Дарвина, знает, что чтение её потому именно и затруднительно для неопытного читателя, что Дарвин аргументирует исключительно фактами; нигде почти не встретится у него голый осто́в отвлечённого рассуждения, всегда он облечён в плоть и кровь конкретного факта⁴⁶.

Но нам предстоит окунуться в ещё более отвлечённые сферы. Это самая любопытная часть статьи, так как представляет единственное её положительное место. До сих пор мы встречали только критику, осуждение чужих воззрений на природу; здесь мы встречаемся с попыткой г. Страхова предложить своё собственное целостное мировоззрение. Понимая, конечно, что все рассуждения о неуловимости идеи пользы, о том, что пользу дарвинисты только выдумывают, о том, что полезному неизбежно предшествует бесполезное и вредное, не разрешают вопроса, поставленного мною ребром, — именно вопроса, как совместить это вредное и неразумное с защищаемым Данилевским и г. Страховым прямым вмешательством «интеллектуального начала», г. Страхов, на этот раз, против обыкновения, смело принимает бой. Он берётся доказать, что это бесполезное и вредное «должно считать бесполезным и вредным» только «с точки зрения дарвинистов», с точки же зрения его, страховской философии, «мы *должны*, конечно, признать их прекрасными и полезными». Вот уж подлинно философский фокус: посмотрите на тот же предмет справа — и оказывается, что вредное вредно, зайдите слева — и окажется, что вредное — прекрасно и полезно.

Но попытаемся, читатель, сохранить на время надлежащую серьёзность и вникнем в таинственный смысл этой глубокой философии. «Она (т.е. природа) может создавать и сохранять черты строения бесполезные или вредные для сколько-нибудь напряжённой борьбы, может давать своим существам и больше того, что требуется для борьбы, даже в высшей степени её напряжения⁴⁷. Таким образом, все эти существа, не подходящие под

⁴⁶ Вот маленькое числовое соображение. В указателе, сопровождающем книгу Дарвина, находится до 1200 ссылок почти исключительно фактического содержания, — круглым числом приходится по три факта на страницу. На восьмидесяти страницах у г. Страхова не наберётся пяти фактических примеров, — всё общие соображения.

⁴⁷ Не стоит пояснять, что эти утверждения совершенно голословны.

формулу Дарвиновой пользы, для нас важны и, можно сказать, *все прекрасны*, потому что это живые свидетельства *некоторого высшего закона*, действующего в организмах. Как грех и зло в человеческом мире есть обнаружение свободы воли, отличающей человека, а потому *человек* не только есть прекраснейшее существо, но *бывает и самым гнусным* и негодным из всех существ, *так и природа* в своих созданиях показывает нам, что она имеет силу подыматься выше или *опускаться ниже уровня простой надобности*». Постараемся привести этот витиеватый аргумент к его простейшему выражению. Существа бесполезные и вредные, тем не менее, прекрасны, потому что доказывают, что природа свободна быть или не быть на высоте своего положения. Мы примиряемся со злом в действиях человека, как следствием его свободной воли, почему же не примириться нам и со злом в природе, как выражением её свободной воли? Таков философский компромисс, изобретённый г. Страховым. Но ни что не ново под луною. Так и основная мысль философии г. Страхова, в её благоразумной форме, высказана уже давно. Высказывал её, например (и, вероятно, не он первый), ненавистный г. Страхову англичанин, и даже из англичан англичанин, Джонсон. Его биограф Босвель передаёт, что Джонсон однажды выразился так: «Нравственное зло происходит от свободной воли, предполагающей выбор между добром и злом. При всём зле, которое существует, где же тот человек, который не предпочёл бы лучше быть свободным деятелем, чем неспособною ко злу машиной, а что представляется лучшим для неделимого, должно быть хорошо и для целого. Если бы и нашёлся человек, который предпочёл бы участь машины, то не я, во всяком случае, с ним согласился бы». Таким образом, как истый британец, он готов примириться со злом, видя в нём неизбежное следствие высшего блага — свободы. Мысль несколько парадоксальная и, во всяком случае, допустимая только в применении к существу ограниченному, несовершенному, каков человек. Но во что же превращается она у г. Страхова? Он распространяет её на всю *природу*. Альфонс Декандоль, в очень остроумном этюде, посвящённом слову природа, жалуется на злоупотребление этим словом и насчитывает несколько различных смыслов, в которых оно употребляется. Первый смысл — тот, когда слово природа просто заменяет слово Божество. Очевидно, в этом, и ни в каком ином, смысле применяет его в настоящем случае г. Страхов. Природа, целесообразно предопределяющая и созидающая, разумная и *свободная*, — словом, то, что Данилевский обозначал выражением «интеллектуальное начало», — что же это такое, как не Божество? В своём «*Полном опровержении дарвинизма*» г. Страхов сам заменяет выражение «интеллектуальное начало» словом «*духовное, божественное начало*». Но, в

таком случае, если относительно Данилевского, на противоположных концах книги, то, дразня дарвинистов, глумящегося над несовершенством природы, то признающего это несовершенство делом «интеллектуального начала», я имел право выразиться, что он или «цинически кощунствует», или обнаруживает «запальчивое недомыслие», то что же сказать о г. Страхове, который смело сводит эти концы в одном риторическом периоде, предлагает для логического промаха Данилевского своё философское объяснение, сводящееся к самому грубому антропоморфизму?

Г. Страхов поясняет далее, на примере, как природа пользуется своею свободой. Веря на слово Данилевскому, он ссылается на плавательный пузырь рыб, как например совершенно бесполезного органа. В нём, по своеобразной философии г. Страхова, мы должны усматривать проявление этого «некоторого высшего закона», в силу которого природа, «опускаясь ниже уровня простой надобности», обременила чуть не целый класс несчастных существ «прекрасным» (читайте: совершенно бесполезным, а, следовательно, и вредным) органом потому только, что имела намерение «в будущем» обратить его в полезный орган — в лёгкие. Что бы сказал г. Страхов, например, о своём обойщике, если бы последний, «опускаясь ниже уровня простой надобности», наткал гвоздей в сидение его кресла для того, чтобы «в будущем» воспользоваться ими для вторичной обивки! Нашёл ли бы г. Страхов такую деятельность «прекрасною» и целесообразно-разумною? Мы только что видели, с какою развязностью и неосновательностью г. Страхов обвинял дарвинистов в том, что они будто бы выдумывают свою пользу, но какою дозой легкомыслия нужно обладать, чтобы голословно утверждать о совершенной *бесполезности* органа, распространённого чуть не у целого класса животных? Неужели г. Страхов забыл, как осмотрительно натуралист должен относиться ко всякому отрицательному свидетельству? Если один положительный результат разрешает вопрос в положительном смысле, то тысячи отрицательных результатов могут не разрешать его в отрицательном. Одного опыта было бы, на прим., достаточно, чтобы доказать существование самозарождения организмов, а все бесчисленные опыты, не обнаруживавшие его там, где его искали, не доказывают его *невозможности*. И на каком основании полагает г. Страхов, что бесполезность плавательного пузыря доказана? Доказано только, что то простое объяснение, которое давал ему на основании «морфологических» соображений Кювье, не подтвердилось экспериментальным, физиологическим путём. Оказалось, что функция (а, следовательно, можно ожидать, и польза) этого органа гораздо сложнее, чем предполагал Кювье, на деятельности которого г. Страхов и Данилевский

желали бы покончить науку, — вот и всё. От этого ещё далеко до признания бесполезности этого органа и до ликования, что в этой бесполезности выражается «свобода» «интеллектуального начала» творить бесполезное наравне с полезным.

Выясним ещё раз положение сторон. Весь гнев Данилевского и г. Страхова на дарвинизм вскипает оттого, что это учение своею попыткой объяснить происхождение организмов «вторичными причинами» будто бы грубо оскорбляет их философское мировоззрение, выражаясь определённое — их религиозное чувство. Как, говорят они, вся эта стройность, гармоничность органического мира объясняется так просто и грубо — возникновением бесчисленных, безразличных изменений, под влиянием известных механических сил, и механическою их сортировкой на полезные и бесполезные, сохранением полезных и уничтожением вредных? Нет, это слишком просто и грубо! Вероятно, такие же возгласы, и из таких же источников, раздавались и тогда, когда стройность небесных сфер попытались объяснить сравнением с таким грубым фактом, как падение камня на землю. Но что же Данилевский и г. Страхов предлагают своему напрасно встревоженному религиозному чувству взамен дарвинизма? Они говорят, много и темно, о загадочных морфологических процессах, о том, что органический мир направляется в своём развитии целесообразно предопределяющим разумным началом, и затем вдруг, думая подорвать представление дарвинистов о пользе, начинают утверждать, что органический мир полон бесполезного и вредного. А когда их спрашивают, как же это «интеллектуальное начало» натворило бесполезного и вредного? — они, т.е. на этот раз один г. Страхов, — Данилевский, должно отдать ему справедливость, до этого не договорился, — г. Страхов не смущаясь отвечает: а человек же творит и хорошее и дурное, и умное и глупое, — предоставьте же эту свободу и «интеллектуальному началу».

Не знаю, найдут ли со временем те религиозные люди, которые были искренно смущены дарвинизмом, какую-нибудь почву для примирения с ним. Думаю, найдут, потому что и теперь можно указать тому примеры между английскими богословами, и, наконец, история учит нас, что тот конфликт, который переживает биология, — астрономия и геология уже успели пережить. Но я полагаю, ни один человек, обладающий религиозным чувством, возвысившимся над уровнем грубейшего антропоморфизма, не найдёт удовлетворения в философии г. Страхова.

Да, логика, — на этот раз я, кажется, вправе прибавить, и философия, и религиозное чувство, — мстят за себя жестоко.

XIV. Заключение.

Вслед за «смутным брожением мысли», с которым мы: ознакомились в предшествующей главе, г. Страхов, снова с не покидающею его развязностью, убеждает своих читателей, «что взял всё *существенное* из статьи г. Тимирязева⁴⁸ и довёл дело до конца, т.е. показал, что всегдашняя ошибка дарвинистов состоит в общих положениях, в которых не видно различия между действительностью и возможностью, между малою вероятностью и полною достоверностью». Таким образом, в конце концов, дело сводится, по-видимому, к повторению того голословного заявления, которое высказано в третьей главе и совершенную бездоказательность которого мы уже видели. Для чего же, спрашивается, потребовалось всё остальное в этой утомительно длинной статье? Всё её содержание вертелось, главным образом, вокруг «истинного открытия» Данилевского, т.е. вокруг подогретого и раздутого им до комических размеров старого возражения, что наличность скрещивания устраняет будто бы возможность сохранения возникнувших изменений. Здесь вся аргументация, как мы уже знаем, представляла бесконечно скучные, надоедливые вариации на тему блестящего умозаключения: «не всё — значит ничего». Затем встречались повторяемые на различные лады обвинения в «неопределённости выражений», в отсутствии «конкретной формы», — обвинения совершенно голословные, так как всякому известно, что трудно найти научные произведения, которые в такой степени, если можно так выразиться, щетинились бы фактами, как именно все труды, вышедшие из-под пера Дарвина. И не комично ли слышать эти обвинения из уст людей, взамен реальных посылок и логически неизбежных доводов Дарвина, предлагающих свои «загадочные морфологические процессы», свою природу, свободную грешить и «опускаться ниже уровня простой надобности» и тому подобные «конкретные явления», обладающие «строкою определённостью» и «полною достоверностью»?

Здесь кончается, по мнению г. Страхова, научная сторона дела и начинается философская; но он горделиво отклоняет от себя даже мысль —

⁴⁸ Из чего читателя усмотрят, что для разбора только *существенного* в моей статье-понадобилось более страниц, чем заключалось во всей моей статье, в которой, по заявлению г. Страхова (в его второй главе), *нет* вовсе *существа*. Замечу, что ещё о многом существенном г. Страхов благоразумно умолчал.

возражать на почве философии таким жалким противникам, как, напри^м., Гельмгольц, Дюбуа-Реймон, — обо мне, разумеется, не может быть и речи. Но я, тем не менее, решительно протестую. Протестую, конечно, не против нежелания г. Страхова вступать в философские словопрения со мной, а против его мнения, будто по сих пор в своей статье он стоял на «твёрдой почве естественных наук». Если г. Страхову дорого достоинство философии, то мне не менее дорого достоинство науки. Нет, рассуждения о свободе природы грешить и творить наравне полезное и вредное — это не наука, это философия, хорошая ли, судить не берусь, это уж дело философов, но только это не наука.

Не могу также оставить без ответа вдвойне противоречащее истине заявление, будто у меня «было большое желание пуститься в область философии» и будто бы я смешал научное обсуждение вопроса с философским, между тем как Данилевский строго разграничил работу натуралиста от соображений другого рода. Если в чём меня можно укорить, то уж, конечно, не «в большом желании», а скорее в ясно выраженной неохоте, известного рода брезгливости, с которой я признаю себя вынужденным «волей-неволей следовать за противником туда, куда он сам нас увлекает». Причину этой неохоты я, по счастью, могу пояснить словами самого г. Страхова: «такие философские учения ...⁴⁹ могут вдруг оказаться чрезвычайно слабыми и уродливыми произведениями человеческого ума. Между тем, хорошо обработанные и установленные результаты любой из естественных наук никогда не могут совершенно потерять своей цены». Ещё менее оснований имеет г. Страхов упрекать меня в каком-то смешении науки и философии. Разбору философских аргументов Данилевского (он сам их так назвал) я уделил всего четверть своего изложения, и отделил эту четверть, под цифрой II, в особую часть, помещённую даже в другой книжке журнала. На лекции же (о которой г. Страхов был так тщательно осведомлён) я дал своим слушателям отдохнуть десять минут, прежде чем пригласил их последовать за мной в дебри философских рассуждений Данилевского, приводивших в такой восторг г. Страхова. По какому же праву позволяет себе г. Страхов уверять своих читателей, что «у меня было большое желание пуститься в область философии» и что я смешал науку с философствованием?

Но, может быть, благоразумный читатель всё же возразит: стоило ли тратить время на разбор философских измышлений Данилевского, когда

⁴⁹ Точки поставлены мною вместо слов: «как Конта, Спенсера и подобных философов». Я полагаю, аргумент только приобретает бóльшую силу в такой безличной форме, как не утратил бы он смысла и с совсем иным *имярек*.

такой поклонник его таланта, как г. Страхов, не придаёт им цены, даже избегает говорить о них? Но моя ли вина, если г. Страхов, с января по декабрь 1887 года, сделал такие успехи, что при обсуждении естественно-исторического вопроса стал предпочитать (платонически, правда) твёрдую почву науки, очевидно, зыбкой, по его мнению, почве философствования? В окончательном выводе своей статьи *«Полное опровержение дарвинизма»* (январь 1887 г.) он высказывал такой афоризм: *«Опора ума может быть только в чувстве»* — и успех Данилевского, в значительной степени, приписывал его эстетическим чувствам, находя такое *сантиментальное* отношение к естественно-историческим фактам «превосходным» и «глубокомысленным». А теперь, после моего ответа, г. Страхов отделяется лаконическим замечанием: не будем об этом лучше говорить, — и меня же обвиняет в желании философствовать⁵⁰. Не лучше ли было с этого начать и не провозглашать в январе «превосходным» и «глубокомысленным» того, о чём в декабре оказывается удобнее не говорить?

Хорошо ещё, если б г. Страхов, отказавшись на этот раз от защиты философски-эстетических рассуждений Данилевского, исполнил своё намерение вполне. Нет, ещё в последний раз, но зато в самой возмутительной форме, не может он себе отказать в «веселье»⁵¹ представить своим читателям мои мысли в карикатурно искажённой форме. Скрыв ох своих читателей, что я на *двенадцати страницах* подробно опровергаю основную философскую точку зрения Данилевского (т.е. его утверждение, что дарвинизм основан на нелепой случайности), он хочет уверить этих читателей, будто, в защиту от философских нападок Данилевского, я не нахожу более остроумного возражения, как заявление, что дарвинизм мог бы доставить материал...» для стихов г-жи Аккерман! Г. Страхов, очевидно, забыл, что всякое преувеличение тогда только достигает цели, когда не делает смешным того, кто к нему прибегает. Конечно, самый доверчивый и преданный г. Страхову читатель не поверит ему, чтобы я оказался способен на такую, выходящую за пределы возможного, глупость, и, следовательно, сообразит, что г. Страхов поусердствовал, что называется — хватил через край. Разъясним эту последнюю проделку г. Страхова. Данилевский сам называет свои общие

⁵⁰ Г. Страхова, очевидно, из себя выводит то, что каждый его ход мною предусмотрен и вперёд отражён. Я очень хорошо знал, что не ответь я на философствования Данилевского, г. Страхов ответил бы мне: ага, это не так легко, как считать тычинки да пестики, а если я отвечу, он поступит так, как поступил, будет глумиться, что натуралист пускается философствовать. Но я предупредил и то, и другое, т.е. ответил, но с оговоркою, что пускаюсь в разбор этих философствований потому, что вынужден к тому, восторгами г. Страхова. Г. Страхову оставалось сделать то, что он сделал, — скрыть всё от читателя и со свойственною ему беззастенчивостью извратить положение, уверять, что это у меня только «было большое желание пуститься в область философии, даже поэзии», тогда как он с Данилевским предпочитают твёрдую почву науки.

⁵¹ См. II главу.

возражения *философскими* и *эстетическими*. На двенадцати страницах опровергаю я то, что составляет философскую часть этой аргументации; г. Страхов благоразумно обходит эти двенадцать страниц молчанием. Разделавшись с философскими возражениями, мельком, на *полустраничке*, касаюсь я и эстетической стороны и говорю, что с сентиментально-поэтической точки зрения можно разве только упрекнуть дарвинизм в том, что он ужасен, — так как провозглашает смерть за регулятор гармонии органического мира, — и замечая, что подобная мысль встречается на каждом шагу и вполне может быть предметом поэзии, «величаво мрачной, во вкусе Аккерман». Коснувшись, таким образом, этой *эстетической* стороны, так как она затронута Данилевским, я снова спешу оговориться: «но скользнём быстрее по этой зыбкой почве мировой элегии и поторопимся перейти к возражениям уже не мечтательным, а захватывающим за живое» и т.д.

Что же делает г. Страхов? Скрыв всё, что я возражаю на *философские* аргументы Данилевского, он, искусною подтасовкой текстов, старается оставить читателя, под впечатлением, будто это моё, мимоходом брошенное возражение на *эстетическую* сторону дела, — всё, что я нашёлся ответить на главное *философское* возражение Данилевского, т.е. обвинение дарвинизма в том, что это учение будто бы объясняет происхождение органического мира «нелепою случайностью».

Таким образом, с первой главы до последней г. Страхов остаётся верен одному критическому приёму — извращению моих мыслей, в расчёте на доверие читателя.

Ещё одно маленькое замечание. Г. Страхов, для сообщения большей ядовитости этому отступлению о поэзии Аккерман, преподает мне урок из французской литературы, поясняя, что выражение «величаво-мрачная» не выражает «вполне точно» свойство поэзии г-жи Аккерман. На это я замечу, что двумя словами вообще нельзя «вполне точно» охарактеризовать поэта, в особенности такого своеобразного, как г-жа Аккерман; одну же из сторон её поэтического склада, наприм., возможность являться певцом смерти, они всё же выражают. А, главное, я не имел намерения писать критический этюд о поэзии г-жи Аккерман. Предполагая, однако, что, поучая меня (хотя и неудачно), г. Страхов руководился самыми лучшими побуждениями и, не желая остаться у него в долгу, я в свою очередь предложу ему маленький урок из немецкой литературы. Г. Страхов (в «*Полном опровержении*» и пр.) приводит целиком «удивительную», по его мнению, последнюю страницу из книги Данилевского, где цитируется известное стихотворение Шиллера, «*Das*

verschleierte Bild zu Sais». Данилевский повествует, будто у Шиллера, юноша, сорвав покрывало, за которым скрывался лик истины, падает мёртвым, и ядовито поясняет, что если б под покрывалом скрывался дарвинизм, то юноша пал бы «поражённый не ужасом перед грозным её величием», а... от расстройства желудка⁵². Эта поэтическая антитеза приводит г. Страхова в неописанный восторг. Оказывается, однако, что у Шиллера, — у настоящего Шиллера, которого мы привыкли читать и уважать чуть не с детства, — дело обстоит несколько иначе. Во-первых, Шиллер своего юношу не уморил, — это сделал, на свой страх, Данилевский; а во-вторых, Шиллер не ручается, видел ли юноша истину. Напротив того, на вопрос читателя: «что же он увидел?» — Шиллер отвечает категорически: «Ich weiss es nicht». Значит, Данилевский и г. Страхов en savent plus long, чем сам Шиллер. Судя же по тому, что несчастный юноша, быстро скоротавший свой век, с отвращением вспоминал о виденном и полагал, что был наказан за свою попытку насильственно овладеть истиной, должно думать, что видел-то он что-то неприглядное. А что, если он увидал не истину, а жреческий обман?⁵³ Тогда, ведь, всё восторги г. Страхова, вызываемые риторикой Данилевского, падают на его же голову. Законы антитезы неумолимы. Если, у Шиллера, юноша, разоблачив жреческую тайну, вынес глубокое отвращение, то, увидав дарвинизм, он должен был бы испытать, во всяком случае, прямо противоположное чувство, — иначе, ведь, не выйдет антитезы.

Да, логика — даже в поэзии — мстит за себя жестоко.

И, во всяком случае, «искажать» Шиллера, да ещё восхищаться этим, такому знатоку литературы, как г. Страхов, как будто и неловко.

Разделавшись окончательно со мной, г. Страхов, как и в начале статьи, взмывает в недостижимую, невозмутимую высь и, взирая с неё на утопающее в невежестве современное естествознание, снова почти изрекает мне великодушное всепрощение. Виноват, конечно, не я, виноват даже не дарвинизм, виновата современная наука⁵⁴; она так приучила меня к «неясным обобщениям, к неопределённым, шатким соображениям», что когда мне «довелось читать книгу точную, строгую, где всё связано и продумано до

⁵² Буквально: «от тошноты и омерзения, перевернувших все его внутренности».

⁵³ Сомнительно, чтобы Шиллер предполагал, что в определённом географическом месте, в известную историческую эпоху, показывали истину. Не такой он был наивный человек. Не вероятнее ли, что юноша увидал не истину, а нечто совсем иное, и приписал неудачу собственной вине, так как совесть укоряла его в нечистых средствах — в насилии, при помощи которого он хотел овладеть истиной? Такова, по крайней мере, мораль, которую выводит сам Шиллер.

⁵⁴ Так и стоит: «во всех приёмах г. Тимирязева отражаются недостатки, господствующие ныне в естественных науках».

конца»⁵⁵, я не был в состоянии «оценить этой точности и строгости» и г. Страхову остаётся только желать, чтоб наука поскорее оправилась от вреда, причинённого ей Дарвином, и чтобы в ней получили силу «чисто научные, т.е. ясные и отчётливые, приёмы» (само собою понятно, приёмы Данилевского и г. Страхова).

Читатель, однако, приходит в недоумение. Как согласить, в устах такого человека, как г. Страхов, по его собственному мнению, конечно, «умеющего ценить строгость и точность» мысли, — как согласить такое режущее слух противоречие: на одной странице говорится, что не следует пускаться в философствования и терять из-под ног «такую твёрдую почву, как естественные науки» (стр. 125), а на следующей (126) странице утверждается, что современные естественные науки могут приучить только «к неясным обобщениям, к неопределённым шатким соображениям»? Выход из этого противоречия, мне кажется, один. Очевидно, по мнению г. Страхова, естественные науки существовали когда-то, но прекратили своё существование за четверть века пред сим, приблизительно тогда, когда сам г. Страхов выбыл из рядов натуралистов и променял «твёрдую почву естественных наук» на более скользкое, но, по-видимому, более привлекательное поприще философствования «обо всём известном и ещё кое о чём».

Несмотря на те потоки брани и ничем не вызванных оскорблений, которыми переполнена вся статья г. Страхова, дойдя до последней, так тепло и симпатично вылившейся из-под его пера страницы, посвящённой памяти недавно умершего друга, я почувствовал нечто вроде глухого раскаяния или укора совести. Тут только я понял, что мой бой с г. Страховым не равный. В самом деле, что мне покойный Данилевский? Только имя, подписанное под известным рядом печатных страниц. Для г. же Страхова это была живая, привлекательная и дорогая ему личность, в долгом общении с которой он мог забывать недостатки писателя. Ненаучный, нелогический, легкомысленно-хвастливый склад аргументации только оскорбляет мой здравый смысл, воспитанный на образцах строгой науки; дерзкие выходки и напраслина, возводимая на Дарвина, только возмущают во мне естественное чувство справедливости. Но каждое моё обличение бьёт г. Страхова прямо в сердце, а эти раны не так легко переносятся. Да, бой не равный; но кто же искал его? Беспристрастный читатель нас рассудит. Книга Данилевского помечена 1885 годом. Я ознакомился с ней немедленно по её выходе — испестрил её поля

⁵⁵ Мы видели это в предшествовавшей главе.

примечаниями, порою превышавшими самый текст — и отложил её в сторону. Ещё до выхода её, получал я предложения напечатать её разбор. Но, тем не менее, я молчал. Мне казалось, что над свежеею могилой уместно вспомнить классическое «de mortuis nil nisi bene». Это следовало бы, кажется, понять и друзьям Данилевского, но это не входило в их расчёты. Именем покойного друга они торопились воспользоваться как тараном, при помощи которого надеялись пробить брешь в современной науке, как одной из твердынь ненавистного им Запада. Начались задиранья. Ага! замалчивают. Не под силу им борьба с русским богатырём! Появилась статья г. Страхова, которая, по его собственному признанию, была не только рекламой, но и прямым вызовом. Тогда я понял, что, вместо изречения древних, пора вспомнить не менее гуманное, но более справедливое: «Nous devons aux morts ce que nous devons aux vivants — la vérité». Я ответил. Ответил резко, не заботясь о том, чтобы смягчать свои суждения, и признаюсь, что и теперь ни в содержании самой книги, ни в тоне её защитников не вижу ничего, что могло бы побудить меня смягчить жёсткость своего приговора. Не раз повторялось, что я должен был бы сдерживать свой тон, помня, что возражаю на книгу человека, уже не находящегося в живых. А разве Дарвин был жив, когда над ним издевались, клеветали на него Данилевский и г. Страхов? Да если б даже он и был жив, то кто же, если не русский учёный обязан был бы защитить этого идеально чистого человека от оскорблений на непонятном ему языке? И если г. Страхову была лично дорога память Данилевского, то и мне личность Дарвина не была вполне чужой. Повторяю, я отвечал резко, потому что был вынужден на то. Но погрешил ли я против справедливости? Г. Страхов неоднократно, но в неизменно-ядовитой форме отдаёт мне справедливость, что я «чистый» дарвинист, что то, что я предлагаю читателям, настоящий, беспримесный, не подкрашенный дарвинизм. Я полагаю, чувство справедливости должно было ему подсказать, что точно так же отнёсся я и к Данилевскому. Г. Страхов смело заявил во второй своей главе, что я только «искажил» произведение Данилевского, но на восьмидесяти страницах своей статьи он не мог предъявить своим читателям ни одного примера, ни одного намёка на искажение. Он уверял также, будто я скрыл всю совокупность аргументации, и, однако, должен был признаться, что в том, на что я возражал, заключается вся сущность книги, и сам не привёл ни одного существенного аргумента Данилевского, который не упоминался бы уже мною.

Но, может быть, я оскорбительно отнёсся к личности автора «Дарвинизма»? Г. Страхов не раз повторяет, что я отношусь к нему с презрением. Слово презрение тут неуместно. Презирают только человека

нравственно несостоятельного; к людям же, берущимся о чём-нибудь судить и обнаруживающим недостаток здравого суждения, относятся только с пренебрежением — вот и всё. Человек, который не убеждён в чём-нибудь, но берётся убеждать других только потому, что в известное время в известном месте это может быть выгодно, — такой человек заслуживал бы, конечно, презрения. Но ни в чём подобном я не подозревал Данилевского. Я отчётливо и определённо высказал мысль, что Данилевскому был противен дарвинизм, что он искренно желал, чтобы то, против чего возмущалось его чувство, оказалось несостоятельным перед судом его разума. Но рядом с этим я возмущался и не перестану возмущаться приёмом его аргументации в самой существенной части книги. Это не приём исследователя, ищущего истину для себя и предлагающего её и другим за ту же цену, какую она имеет в его глазах, а приём софиста, полагающего свою задачу в том, чтобы добиться одобрения, вырвать во что бы то ни стало согласие слушателей. Этого приёма обязан избегать всякий ищущий истины, во-первых... во-первых, потому, что «кая бо польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщетит», — это мотив этический, голос чистого разума; а, во-вторых, если я сам вижу слабость своего довода, то, ведь, рано или поздно, увидят её и другие и мне будет стыдно, — это голос практического разума. Приходилось мне читать по поводу своей статьи и такое суждение, будто я внёс в полемику элемент страстности. Я мог бы указать на ещё большую страстность противной стороны, но это, конечно, не аргумент, — напротив, я хочу сказать, что наличие известного рода страстности несколько не вредит интересам науки и, наоборот, я полагаю, что всевозможные: «с одной стороны нельзя не сознаться, а с другой стороны должно признаться», очень полезные в житейском смысле, к науке никакого отношения не имеют. Тиндаль блистательно защищал, с виду также парадоксальный, тезис о значении воображения в точных науках; я полагаю, не менее благодарною темой было бы и развитие положения, что без страстного, живого, горячего отношения, без увлечения исследователя своим предметом, едва ли увидело бы свет хоть одно существенное завоевание науки. Напрасно смешивают бесстрастие с беспристрастием. Не олимпийское бесстрастие «бессмертного», а простая человеческая честность — вот что необходимо в науке, как и во всякой другой человеческой деятельности. Можно быть страстным, глубоко-возмущённым, взволнованным голосом обличать неправду, но не забывать требований безусловной справедливости. И, наоборот, можно, оставаясь совершенно бесстрастным, тоскливо-кислым голосом ронять клевету. Можно, наконец, сохраняя полную бессловесность, быть возмутительно несправедливым; на то существует риторическая фигура — умолчания. Страстность или бесстрастие — только вопрос темперамента;

человек так же мало повинен в них, как в своём росте или цвете волос. Беспристрастие же — результат развития умственного и нравственного. Итак, не в резком тоне моего возражения кроется причина той острой формы, которую приняла полемика по чисто-научному вопросу. Не вызванной резкостью формы, а именно содержанием моей критики, от которого, несмотря на все усилия, г. Страхов не мог защититься, объясняется та бессильная злоба, которая через край бьёт во всей его статье.

Мне кажется, что ключ загадки, истинная причина комически-преувеличенного восхваления труда Данилевского и озлобления на трезвое критическое к ней отношение сквозит в одной фразе на последней странице статьи г. Страхова: «Н.Я. Данилевский был для меня, как и для всех его знавших, звездою первой величины».

«Thy wish was father, Harry, to that thought», — отвечу я г. Страхову словами Шекспира. Не достоинства книги Данилевского навели на мысль возвести его в звёзды первой величины, а именно *желание*, упорное намерение видеть в нём звезду первой величины, *породило мысль* сопричесть его книгу к *самым редким явлениям во всемирной печати*. Не стану распространяться, как убого должно быть то окошечко, в котором только и света, что от таких светил, как Данилевский, какой крохотный и тёмный уголок неба виден из этого окошечка, если такие звёзды кажутся на нём звёздами первой величины. Для нас важно самое признание г. Страхова, так как в нём заключается разгадка всего искусственного шума, поднятого в нашей литературе по поводу книги, которая во всякой другой литературе прошла бы едва замеченной⁵⁶. Разгадка эта заключается в одном слове — «кружковщина», в том общественном явлении, на которое обращали в своё время внимание и Грибоедов, и Гоголь, и Тургенев и которое за полвека так мало изменилось, что сохранило даже прежний язык и номенклатуру. Тесный кружок единомышленников, мнящий себя центром нового, мирового движения, распределяет между своими членами роли гениев, светил, пожалуй, маленьких мессий. Таким-то маленьким мессией, очевидно, был в глазах своего маленького кружка и Данилевский, а его книга заранее была признана мечом, который он должен был принести для поражения нечестивой науки Запада. И вдруг оказалось, что этот мессия — только компилятор, кропотливо подобранный устарелые, заброшенные возражения и при обращении с ними на каждом шагу обнаруживающий неспособность к научному беспристрастию и строгому логическому мышлению. Такой удар,

⁵⁶ Такова была, напим., судьба трёхтомной, гораздо более основательной и на десять лет опередившей Данилевского, но такой же злосчастной книги Виганда.

конечно, не легко было снести. Вот где кроется истинное объяснение статьи г. Страхова, его ослепления и необычного, забывающего все приличия, озлобленного тона.

Терпеливо разобрав всю статью, главу за главой, для того, чтобы читателю было ясно, что на этот раз моя мысль не «движется капризными извилинами»⁵⁷, а послушно следует за бесконечной, тягучей нитью мыслей г. Страхова, подвожу краткий итог.

Минуя главы I и II, в которых, как мы видим, автор только, так сказать, представляет себя и меня своим читателям: себя в благородно-негодующем, меня — в комически-нелепом виде, остановимся прямо на главе III. Судя по некоторым местам статьи, порою кажется, что в этой-то главе и заключается основное возражение. Глава эта, как и самое её заглавие, рассчитаны на то, чтобы вызвать в читателе легко запоминаемое безотчётное предубеждение против дарвинизма. Достигается это искусною попыткой привязать к реальным факторам, из которых складывается процесс естественного отбора, этикетку «возможных», в том расчёте, что таким путём и самый отбор из области реальной действительности переместится в область призрачной возможности (т.е. даже не вероятности). Но мы видели, на каком приёме «форсирования» (как выражаются фокусники) одного смысла слова другим основан этот диалектический фокус, и убедились, что и после этой неудачной попытки отбор остаётся тем же, чем был, т.е. не призрачною возможностью, а *необходимым логическим выводом из наблюдаемой действительности*.

Главы IV и V посвящены пространной амплификации (с введением аллегорического персонажа — стереотипа) заимствованной у меня метафоры Руссо. Не говоря уже о том, что способ аргументации посредством притчи не совсем удачен в применении к строго-научному вопросу, мы убедились, что самое сравнение Руссо более к делу не идёт.

Главы VI, IX, X и XII представляют главную *pièce de résistance*. В них, на всевозможные лады, г. Страхов пытается спасти пресловутое «истинное открытие» Данилевского, т.е. безуспешно пытается доказать, что если существует скрещивание, то не существует отбора. Здесь пускается в ход запугивание меня авторитетом Негели, предлагаются бесконечные вариации умозаключения: не всё — значит ничего, смело взводится на Дарвина напраслина, вспоминаются нелестные, но голословные о нём отзывы

⁵⁷ Как жалуется г. Страхов во II главе.

различных авторов, но всё безуспешно, естественный отбор остаётся непоколебленным.

Для развлечения читателя, утомлённого безотрадным однообразием этих четырёх глав, в виде к делу не относящегося дивертисмента, введены главы VII и VIII. В первой игриво доказывается возможность для того, «кто сам мыслит», забывать, откуда он почерпнул эти *свои* мысли, и защищается право признавать чужую мысль за свою, а во-второй, по-видимому, иллюстрируется возможность такой забывчивости на примере самого г. Страхова, забывшего кое-что из арифметики и, на основании этой забывчивости, решающегося укорять меня в каком-то будто бы грубом невежестве.

Глава XI, самое название которой рассчитано на то, чтобы пробудить в читателе упавшие надежды на разыскание «всегдашней ошибки дарвинистов», включает в себе несколько нелестных, но совершенно голословных *отзывов* Негели и Данилевского о дарвинизме и самого г. Страхова об англичанах вообще и о Дарвине в особенности, — неудачную придирку к двум фразам Дарвина, — дифирамб Данилевскому по поводу одной странички его книги, как мы убедились, к делу не относящейся, — и на последних четырёх строках внезапное, ничем не мотивированное, обвинение дарвинизма в «неопределённости посылок» и «неправильном обобщении выводов», в чём, по-видимому, и должно заключаться обещанное открытие.

Глава XIII особенно любопытна, так как содержит единственную положительную часть статьи. Доказав, по его мнению, несостоятельность дарвинизма, не могущего будто бы объяснить такого коренного факта, как присутствие в органическом мире бесполезного и вредного, г. Страхов берётся доказать, что этот факт превосходно мирится с воззрением Данилевского, по которому органические формы создаются при непосредственном вмешательстве «интеллектуального (или, по г. Страхову, божественного) начала». Всё бесполезное и вредное, — поучает г. Страхов, — станет в наших глазах «полезным и прекрасным», стоит лишь допустить, что природа, подобно человеку, обладает свободною волей и потому вольна грешить и «подыматься выше или опускаться ниже уровня простой надобности». В этой блестящей философской теории преподан, конечно, образец тех «чисто научных» приёмов, основанных на «определённых посылках» и «правильных обобщениях» и потому обладающих «полною достоверностью», отсутствием которых, по заявлению г. Страхова, страдает дарвинизм. Но вслед затем в заключительной, XIV, главе г. Страхов вдруг начинает убеждать меня (!) в бесплодности философствования, когда можно иметь под ногами «твёрдую

почву естественных наук», хотя, к сожалению, не обозначает точно времени, когда естественные науки потеряли эту твёрдую почву из-под ног, так как на следующей же странице, и также внезапно, заявляет, что *современные* естественные науки могут только приучить к «неясным обобщениям» и «шатким соображениям».

Как видно из этого краткого обзора, «всегдашняя ошибка» так и оказалась не разысканною, если не считать за её разоблачение нескольких бездоказательных строк в конце XI главы. Если же всё дело в этих четырёх строках, которые должны быть приняты читателем на веру, то зачем было заставлять его прочесть 80 страниц?

Но если читатель обманулся в ожидании узнать всегдашнюю ошибку дарвинизма, то не познакомился ли он взамен с всегдашним диалектическим приёмом автора этой неудачной критики? Видел он желание запугивать его голословными мнениями сомнительных авторитетов (главы VI и XI); видел смелые, самоуверенные, но решительно ничем не подкреплённые утверждения (гл. II, IX, XIII), попытки скрыть от читателя сущность рассматриваемого вопроса (гл. IV, VIII, XIV), или отвлечь его внимание не относящимися к делу подробностями или совершенно посторонними вопросами (гл. XII); видел бездоказательные обвинения или прямую напраслину, развязно взводимые на Дарвина и дарвинистов (гл. VI, XI, XIII); видел, наконец, обрубание конца или и конца и начала мысли противника (гл. IV, XII), искажение его мыслей (гл. I, V, XIV), а то и просто бесцеремонную замену слов противника своими собственными (гл. XI). Словом, так или иначе, но по всей статье сквозит один приём, одно неизменное стремление: запутать, затемнить дело в глазах читателя, лишить читателя возможности самому разобраться, составить себе ясное понятие о предмете спора. Не могу лучше характеризовать этот *всегдашний приём*, как следующим сравнением⁵⁸. Различные существа прибегают к различным средствам защиты: лев защищается когтями, бык — рогами, зайца уносят его быстрые ноги, мышь прячется в нору, а каракатица — та мутит окружающую воду и под покровом мрака ускользает от врага. Вот этой именно тактике каракатицы неизменно желал подражать в своей статье г. Страхов, с тем только различием, что та, конечно, рада, когда ей удалось просто уйти от врага, а г. Страхов из своего мрака сыплет бранью на противника, а ничего не видящему перед собой читателю самодовольно кричит: разбил! победил! уничтожил!

⁵⁸ Всегдашний, понятно, по отношению к разбираемой статье.

Я выполнил намеченную задачу, представив подробный, пожалуй, чересчур подробный анализ статьи г. Страхова, доставив читателю возможность оценить её по достоинству. Позволю себе в заключение одно последнее, чисто личное отступление. Бывают исключительные, высокие положения, когда человек может идти своим путём, не обращая внимания на раздающиеся вокруг него оскорбительные крики, на долетающие до него брызги грязи. В таком положении находился, наприим., Дарвин, всегда презиравший полемику⁵⁹. Но этим правом могут неоспоримо пользоваться только Дарвины. Обыкновенный, рядовой учёный, к сожалению, вынужден добывать это право с бою; от него читающая публика может требовать знамения его правоты, доказательства несостоятельности его противника. Смею надеяться, что двукратным продолжительным молчанием я достаточно показал своё отвращение к подобной полемике, содержанием же своих вынужденных ответов доказал, что молчал не потому, что нечего было отвечать, а тем и другим завоевал себе право, самое драгоценное для учёного, с досадой считающего каждую минуту, потраченную на полемику, так мало имеющую общего с наукой, — право впредь молча проходить мимо таких произведений, как «*Всегдашняя ошибка*» г. Страхова.

Тимирязев, К. А. Бессильная злоба антидарвинизма. (По поводу статьи г. Страхова: "Всегдашняя ошибка дарвинистов") / К. А. Тимирязев // Русская мысль. - М., 1889. - Год десятый, кн. V. - С. 17-52; Год десятый, кн. VI. - С. 65-82; Год десятый, кн. VII. - С. 58-78.

⁵⁹ Впрочем, и он отступал от своего правила, когда полемика заходила за пределы обычной литературной добросовестности.